

А. ПЯТИГОРСКИЙ

ФИЛОСОФИЯ
ОДНОГО
ПЕРЕУЛКА

А. ПЯТИГОРСКИЙ

ФИЛОСОФИЯ ОДНОГО ПЕРЕУЛКА

•ИЛИ•

ИСТОРИЯ ЕЩЕ НЕ ОКОНЧЕННОЙ ЖИЗНИ
ОДНОГО РУССКОГО ФИЛОСОФА,
РАССКАЗАННАЯ АВТОРОМ,
А ТАКЖЕ НЕКОТОРЫМИ ДРУГИМИ,
БОЛЕЕ ИЛИ МЕНЕЕ РУССКИМИ,
ФИЛОСОФАМИ



RR
PRESS
LONDON

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

В с е о п и с а н н ы е з д е с ь л и ц а , и м е н а , ф а м и л и и б и о г р а ф и ч е с к и е д а н н ы е — а б с о л ю т н о р е а л ь н ы . Т о ж е о т н о с и т с я к о в с е м д р у г и м ж и в ы м с у щ е с т в а м , а т а к ж е к н е ж и в ы м п р е д м е т а м , г е о г р а ф и ч е с к и м н а з в а н и я м и и с т о р и ч е с к и м д а т а м . Н у м е р а ц и я с н о с о к в к н и г е — с п л о ш н а я .



Copyright © A.Piatigorsky. 1989

Copyright © Russian edition

RUSSIAN ROULETTE PRESS LTD.

8A Rochester Terrace.

London, NW1 9 JN. ENGLAND

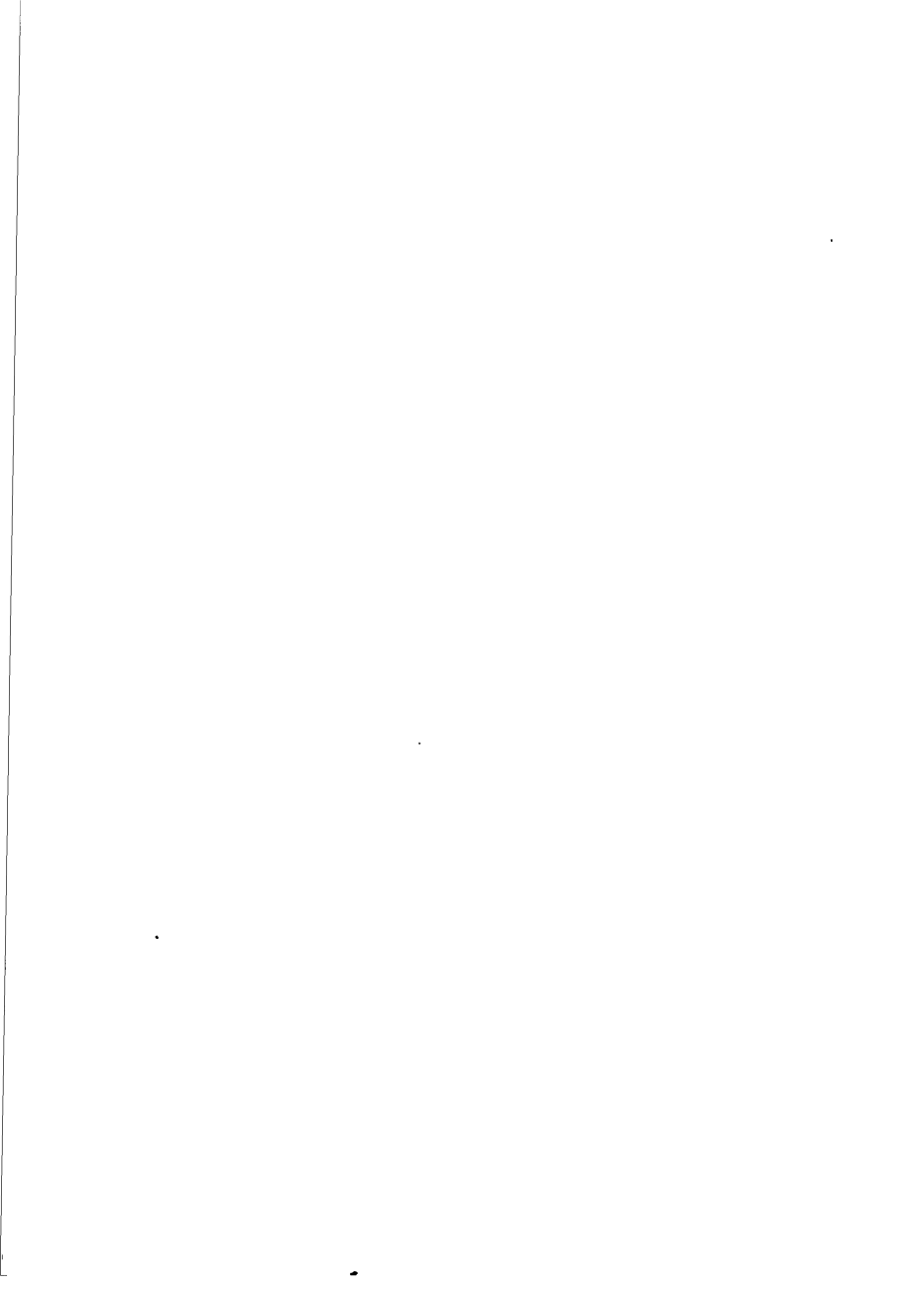
”Я совершенно убежден, что все, что со мной происходило, уже было в моей жизни с самого ее начала. Все последующие события, факты и обстоятельства явились лишь переживанием и осознанием того, что тогда (я не знаю — когда?) со мной случилось”.¹

”...if it could be cut out of my past I should still be almost exactly the man I am.”

C.S. Lewis. *Surprised by Joy*.²

¹ Из письма Николая Ардатовского автору, от 21-го марта 1975 г.

² ”...Но даже если исключить это (т.е. то, о чем я сейчас сказал, — А.П.) из моего прошлого, то и тогда я почти в точности останусь тем, что я есть сейчас”. Здесь самое важное — ”почти”. ”Почти”, это то легкое изменение интонации, которое сделало бы меня безразличным к звуку моего собственного голоса.



ПЕРВОЕ ПРЕДИСЛОВИЕ – АБСТРАКТНОЕ

Поскольку всякое реальное философствование – как любил повторять Мераб Мамардашвили – есть думанье (рассуждение, писание и т.д.) о сознании и, как таковое, не имеет ни начала, ни конца, всегда являясь продолжением, то и я буду, здесь и сейчас, продолжать об этом. Продолжение понимается здесь, как включение индивидуального сознания в такие условия обычной (т.е. социальной, исторической и т.д.) жизни, в которых становится возможным понимание индивидуальным сознанием самого себя как сознания, а жизни – как несознания.

Гений может достичь этого понимания – если захочет, конечно – и без включения в такие условия. Обыкновенный же человек – даже очень талантливый – не может. Только "включившись" он окажется в состоянии сделать выбор – философствовать или не-философствовать, а точнее – философствовать или жить. Сам этот выбор может либо быть сознательным, либо просто случиться. Но, так или иначе, если ты уже выбрал философствование, то дороги назад, в нормальную жизнь, нет. И если ты попытаешься вернуться, то найдешь не жизнь, а то, что гораздо ниже и хуже жизни, и это будет гибелью тебя, который выбрал.

ВТОРОЕ ПРЕДИСЛОВИЕ – КОНКРЕТНОЕ

Я – не писатель. Эта оговорка сделана не из боязни, что меня сочтут плохим писателем. Подобного рода обвинения я

отвергаю заранее, потому что я — ни к а к о й писатель. Я — плохой философ, но, все же, философ.³ А это предполагает определенное отношение к т е к с т у (И к самому себе, ведь ты тоже некоторым образом — текст). Текст для философа есть то, что всегда содержит какое-то мышление, какое-то знание, и непременно — позитивное. Для философа не может быть дурного знания или вредного мышления, или он — не философ. Если человек смеется, философ говорит: "Он смеется над своей обреченностью". Если плачет, философ скажет: "Он плачет над своим торжеством". Если позорит, ругает, проклинает кого-либо, философ заметит: "Он знает свою гибель". Философ наблюдает не жизнь, а жизнь сознания.

Таков мой подход и к жизни Николая Ардатовского, который сам вовсе не философ, а, скорее, бизнесмен (сейчас он — один из директоров международной фирмы по производству геологической аппаратуры). Но отчего же тогда считать его жизнь философской?

Полностью соглашаясь с теологически бесспорным положением, что всякая реальная биография есть биография религиозная или даже теологическая, мне все-таки это положение кажется философски недостаточным.⁴ То, что я слышал о Николае Ардатовском в Москве (а наслышан о нем я был с восьми лет), показывает, что он обладал удивительной чертой — между ним и жизнью никогда ничего не стояло, и когда он ее воспринимал, то воспринимал абсолютно буквально. (Этого, разумеется, я не мог понять в восемь лет, и едва ли могу в пятьдесят восемь). То есть, если жизнь была сложной, он воспринимал ее сложно, если она была простой, он воспринимал ее просто, если непонятна, он ее не понимал (да и как можно понять то, что само себя не понимает? — как сказал бы Мераб Мамардашвили). Я уверен, что эта черта не может

3. Термин "плохой философ" я понимаю в чисто ремесленном смысле.

4. Это положение мне высказал преподаватель теологии в Оксфорде, покойный Николай Михайлович Зернов, когда я начал излагать ему свою собственную, довольно безбожную биографию.

быть ничем иным, как философией и религией вместе, даже если обладатель этой черты об этом не знает. Ибо, если между тобой и жизнью не стоит ничего, то там есть Бог или Сознание.

Позднейшие мои встречи с ним, уже в Англии и Франции, только подтвердили то, что я и так знал из московских рассказов о нем, хотя я не помню, чтоб он хоть раз употребил в разговорах или письмах слово Бог иначе, нежели метафорически.

ГЛАВА ПЕРВАЯ: ИСТОЧНИКИ И ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА

Начнем с последних (они же первые). Главное действующее лицо — тот, чья биография здесь излагается столь фрагментарно и поверхностно ("скользите, смертные!"), Николай Иванович Ардатовский, родился в 1926 г. в Москве, во Втором Обыденском переулке. Его отец, геолог, Иван Викторович и мать, чертежница, Александра Леонидовна, имели еще пятерых детей: Ивана, Романа, Валентину, Федора и Евгению. Николай, которого отныне будем называть Ника, был предпоследним. Кроме того, с ними жила бабушка (тетка матери) Лидия Акимовна и ее муж ("дедушка") Тимофей Алексеевич. В 20—40-е годы они занимали трехкомнатную квартиру в доме, отстоявшем за шесть домов от моего, но сам я не помню, чтобы хоть раз видел кого-либо из этой семьи (кроме дедушки, конечно), хотя разговоры о них велись постоянно на нашем огромном внутреннем дворе (доходившем едва ли не до Остоженки).

Главным рассказчиком о Нике 30-х годов, то есть с того времени, когда ему было около шести лет и до того дня, когда он, не достигнув своего тринадцатилетия, "испарился" (по меткому выражению его одноклассника и дворового энциклопедиста, Гарика Першеронова), был Роберт Георгиевич Севьянс, родившийся в 1925 г. Он был сын горного инженера, Геворка Арташесовича Севьянца и учительницы, эстонки (скрывавшей, что она — немка: для этого ей пришлось тайно переучи-

ваться с немецкого на французский, в чем ей тайно же помогла бабушка Ники, Лидия), Елизаветы Валентиновны. В дальнейшем этого человека мы будем называть Роберт.

Поскольку армянско-эстонско-немецкая конфигурация его наследственности, а также решительное намерение стать офицером не оставляли ему никакого иного выбора (по крайней мере это было так, когда он, в мае 1941-го оставил школу имени Булкина и готовился поступать в артиллерийскую школу), то он считал себя русским ("Знаешь, а ведь я русский, в некотором роде"). Зимой 1945-го, он с отличием (никаких других оценок, кроме "отлично", он никогда в своей жизни, кажется, не получал) окончил артиллерийское училище. Он был выпущен лейтенантом, попал на фронт 4-го мая, и был убит 8-го мая севернее Берлина. Похоронная пришла 25-го мая (я ее видел своими глазами). Его отец умер от горя и крупозного воспаления легких через три месяца. Впоследствии оказалось, что Роберт не был убит — так, по крайней мере он сам утверждал, встретившись со мной в 1959 г., хотя и не отрицал подлинности похоронной. Никогда после этого он в Москве не жил. Самой странной чертой его рассказов было полное отсутствие соображений по поводу сообщаемых им сведений и разговоров (разумеется, все это, когда он говорил не от себя). Про него даже нельзя было сказать, что он "придерживался" фактов. Он просто "извлекал" их из себя, предоставляя слушающему делать с ними то, что тому заблагорассудится.

Другим основным источником для этой биографии — особенно в том, что касалось семьи Ники, и семейных же воспоминаний о нем, был Генрих Натанилович Годковский, родившийся в 1927 году и живший в те времена где-то в наших краях, то есть, в пределах того естественно сложившегося обитания, которое располагалось между Остоженкой (теперь — Метростроевская), Храмом Христа Спасителя (теперь Московский Плавательный Бассейн имени Ленина), Москвой-Рекой и Зачатьевскими переулками (относительно изменения двух последних географических названий мне пока ничего не известно). По-моему, он был сирота, и жил то у одной, то у другой из

своих многочисленных теток, а порою и у совсем чужих людей. В дальнейшем он будет именоваться Геня.

Как рассказчик Геня являл собой полную противоположность Роберту. Для того, чтобы вынести суждение о факте, сам факт был ему просто не нужен. Так, например, сообщая вам, что кто-то — гений, он сначала произносил про себя слово "гений", потом принимался вспоминать или выдумывать, кто бы это мог быть этим словом обозначен, называл данное лицо по имени, а затем произносил слово "гений" вслух. Роберт (еще до своей официальной смерти) называл такую манеру высказывания "предикативно-объективной".

Следующей особенностью Гени было то, что он почти не читал книг (единственным оправданием чему, по мнению Роберта, служило то обстоятельство, что он их не писал). Говорил, что они мешают думать.⁵

Третье же, и самое в нем странное было то, что если где-либо приключалось что-либо интересное или необычное, то при этом обязательно он лично оказывался присутствующим — обычно в качестве слушателя или зрителя, а не действующего лица. Тот же Роберт даже выдвинул гипотезу, что интересное оттого и случается, что при нем присутствует Геня.

ГЛАВА ВТОРАЯ: НАЧАЛО РЕЛИГИИ⁶

Я думаю, что произнесение Никой слова "Бог" имело какое-то отношение к семейной традиции, ибо сам он мне говорил, что за все свое детство ни разу не слышал у себя дома сло-

5. Чему, разумеется, нисколько не противоречит тот факт, что первой (и последней) должностью его в Москве была должность библиотекаря в райбиблиотеке.

6. Эта глава написана со слов Роберта и Ники.

ва "религия". Когда взрывали храм Христа Спасителя, чтобы на этом месте выстроить Дворец Советов (оказавшийся, затем, плавательным бассейном), у них в спальней вылетели все стекла. Их сосед по балкону, молодой инженер, Сергей Антонович Викулин сказал дедушке Тимофею: "Вы знаете, это — двойной удар по религии". Дедушка ответил: "Не знаю".

Другой их сосед, тоже инженер, Гершенкрон, раз увидел, как шестилетний Ника пытается заглянуть в высокие окна храма Ильи Пророка Обыденского, и строго сказал: "Никочка, не подходи к церкви. Здесь — трупный запах. Она сама стоит на трупах". Ника ужасно испугался, ему стало очень холодно (в церкви шло отпевание). Он решил, что сейчас его втащат внутрь, каким-то образом убьют и тут же закопают. Он бросился домой (дом был в двадцати метрах) и пересказал дедушке слова Гершенкрона. Дедушка потрогал лоб тонкими зеленоватыми пальцами и ответил так: "Виталий Эммануилович совершенно прав: в с е стоит на трупах. Церковь — тоже. Посмотри, вот сейчас строят метро. И где бы ни копали, везде находят человеческие кости. И то, что э т о (он не сказал "религия") — смерть, тоже верно. Впрочем, что касается церкви, то мне кажется, что он принял за трупный запах запах ладана. Но, может быть, в каком-то смысле и это — так". У дедушки дрожали руки, и Нике показалось, что ему тоже холодно.

Следующее религиозное событие относится к гораздо более позднему времени. Весь первый этаж дома, в котором я жил, занимали командиры той самой, прославленной Краснознаменной Пролетарской Дивизии со своими семьями. В одну "прекрасную" (по выражению Роберта) ночь, все командиры были схвачены и куда-то отвезены ("отловлены" — по выражению Роберта). Ребята во дворе говорили, что их сразу же и расстреляли из пулеметов.

На другой день, поздно вечером, в гостях у Никиных родителей сидел сводный брат нашей соседки, Сергей Владиславович Смирнов. Сначала он не говорил ничего. Пил крепкий чай с лимоном и плакал. Потом шепотом прокричал: "Всех сразу! Боже, какие они были молодые, добрые, красивые!" Его шу-

рин, красавиц Георгий Константинович Дрежелский, отчеканил над своей рюмкой портвейна: "Ты говоришь вздор, Сережа. Я тоже молодой и красивый. Плачь обо мне, а не о тех, кто взял в руки меч да от меча погиб".

Отец Ники давно спал здесь же, за перегородкой, а мать — в соседней комнате, с малышами. Ника сидел на диване, в тени зеленого абажура. Дедушка Тимофей сказал: "Не сердитесь, Георгий Константинович, но слишком много гибнет тех, кто и меч-то взять в руки не успел, кто и помыслить об этом не имел времени". "Я понимаю, — обрадованно проговорил Ника, — меч, это — метафора". "Не думаю, — заметил дедушка. — Меч, это меч". (С Никой, хотя ему было тогда не более 11-и лет, дедушка говорил как со всяким другим человеком). "Но теперь-то я, наконец, понимаю, — вскричала Ника. — Сначала христиане убили колдунов, потом красногвардейцы убили христиан, а теперь кто-то убил красногвардейцев".

Пересказывая мне это выступление Ники, Роберт назвал его "теорией исчезновения видов", и добавил: "Ника в детстве был блистателен. Может быть, даже гениален, а?" Ника не сообщил Роберту, чем кончилась эта беседа (я думаю, что потрясенные слушатели на этом и разошлись). Но я мог легко восстановить первоначальный источник Никиной информации о колдунах. Им безусловно был все тот же Гарик Першеронов. В самом начале 1937-го года он под секретом сообщил мне и Роберту (мы ходили взад-вперед вдоль забора нашего дома) следующие сведения касательно колдунов: "Основным содержанием истории человечества является борьба двух групп колдунов — злых и добрых. Все правительство — предатели Родины и враги народа. ЦК — тоже. Все они — в руках злых колдунов. Только один Ворошилов — нет. Я это совершенно точно знаю. Москва и страна — в их руках. Им даже и убивать не надо. Они просто заколдовали место, и там люди сами мучают и терзают друг друга. Я это доподлинно знаю, потому что я связан с тайным союзом добрых колдунов". Услышав это все, Роберт пришел в необычайное возбуждение и сказал, что ему срочно нужно домой. После его ухода Гарик мне объяснил, что Роберт во-

все не домой пошел, а к Нике, чтобы рассказать ему о колдунах. Совершенно очевидно, что версия Ники явилась результатом творческого синтеза информации, точно переданной ему Робертом, и его, Ники, собственных соображений по этому и другим поводам.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ: А МОЖЕТ БЫТЬ, ВСЕ-ТАКИ ПЕРЕДУМАЕШЬ?

Теперь я перейду к рассказу о том, что случилось с Никой где-то в конце 1936-го или в самом начале 1937-го, то есть заведомо до истории с арестованными командирами. В отличие от двух уже сообщенных выше событий, это было не пассивным присутствием, а, скорее, приключением, в центре которого Ника, вольно или невольно, оказался и которое, мне думается, произвело сильнейший сдвиг во всем его мировосприятии. Может быть, даже определило дальнейший ход его жизни. В начале 1938-го Ника систематически изложил все это Роберту, а в конце 1959-го Роберт, не менее систематически, пересказал это мне. В самом кратком изложении это будет примерно так.

Весь Обыденский с раннего утра был завален мокрым снегом, и потому без усталости работали сразу две снеготаялки. Сотни мальчиков и девочек катались на санках и лыжах, беря разбег от Первой Опытно-Показательной, Памяти жертв царского произвола и имени товарища Лепешинского Школы, мимо Ильи Обыденского, и дальше круто вниз, к Саймоновскому Проезду и забору строительства Дворца Советов.

У Ники не было санок (о них не могло быть и речи при тогдашних, крайне стесненных обстоятельствах его семьи). Он долго топтался в глубоком снегу, глядя на съезжавших счастливых, и уже успел промочить себе валенки, когда кто-то положил ему руку на голову. Ника обернулся и увидел очень ху-

дого юношу, одетого в длинное мохнатое пальто с поясом, фетровую шляпу и черные вязаные варежки.

И вот разговор, который произошел между ними.

— Ну что, глядишь на чужие санки и завидуешь?

— Я, разумеется, хочу иметь санки, но чувство зависти мне органически чуждо.

— Ого-го! Ну и речь! Ты что, много читаешь?

— Безусловно много. Но больше всего я читаю одну и ту же книгу. Угадайте — какую?

— У меня нет времени угадывать. Что это за книга?

— У меня сложилась такая привычка, я все время читаю "Робинзона Крузо". С бабушкой я читаю эту книгу по-немецки, по-французски и по-английски.

— А дедушка что делает?

— Когда мы читаем, дедушка всегда находится где-нибудь в другом месте, а папа или на работе, или спит.

— Я тебя не спрашивал о твоём отце. Приучись, по крайней мере, не отвечать на те вопросы, которых тебе не задают. Иначе шансов выжить у тебя останется совсем немного.

— Даже меньше, чем у Робинзона Крузо сразу же после кораблекрушения?

— Намного меньше. Ведь ты пойми: он, очутившись на берегу, уже спасся. А я уже погиб, да и ты сам тоже — почти погиб.

— А, я понимаю. Вы, кажется, имеете в виду слухи о новой страшной эпидемии, которая неминуемо унесет миллионы жертв, и на которую есть даже намек в журнале "Всемирный Следопыт"?

Ника жутко испугался. Хуже, чем тогда, перед церковью. Его новый собеседник посмотрел на него внимательно, без всякого сострадания, и сказал: "Я ничего не имею в виду. И никогда не повторяй слухов. И не передавай чужих слухов и мнений. И запомни: меня зовут Анатолий, и я буду здесь ровно через два часа, на этом самом месте, с новыми санками для тебя. Будь здоров".

Но Ника почувствовал сразу же после его ухода, что так просто стоять и ждать два часа — невыносимо. Он отправился к метро “Дворец Советов” посмотреть который час. Потом, чтобы убить время, сел на трамвай “А” и доехал до... Но здесь история становится странной, чтобы не сказать темной. Он помнил только, что трамвай остановился на какой-то маленькой площади, и там часы показывали двенадцать минут до назначенного Анатолием срока. Узнав от кондуктора, что меньше, чем за сорок минут назад, до Гоголевского Бульвара, не доедешь и что лучше попытаться вернуться на автобусе №64, он бросился на проезжую часть улицы... и тут услышал пронзительный скрежет тормозов и чем-то утрашающий и невероятно картавый голос: “Стоп, стоп! Что, хочешь умереть раньше срока, юный авантюрист!” Ника (новые санки уходили от него в пасмурный снеговой день вместе с Обыденской Горкой и Анатолием) почти не думая, сказал: “Я был бы вам бесконечно признателен, если бы вы смогли отвезти меня на Обыденский. У меня там крайне срочное свиданье. И я никак не поспеваю ни на каком другом виде транспорта”. Картавый человек обернулся и сказал кому-то, сидящему за шофером: “Не думаете ли вы, Боря, что это — логическое завершение нашего спора? Этот гомункулический ребенок в минуту острой нужды заговорил на языке несуществующих отношений. А что, если лет, эдак, через двадцать, когда ему будет, ха, за тридцать, другие наши юные друзья обнаружат, вдруг, острую нужду в этих самых отношениях? И они найдут язык! А мы будем молчать, безязычные делеги нереализованной социальной утопии, и вяло завершать наши романы с постаревшими секретаршами!”

Обхватив толстую белесую голову мягкими руками (в машине зажгли свет), Боря простонал: “Вы с ума сошли, Вальдемар Густавович, ведь мы и так дико опаздываем!” Но Ника уже сидел на острых коленях картавого, и машина мчалась, неизвестно куда. “Я и не думаю отклоняться от нашего пути, — продолжал картавый, — мы просто через пять минут сдадим этого начинающего строителя прекрасного будущего с рук на руки дежурному, и попросим его отвезти на Саймоновский, не

доезжая тридцати метров до генеральского дома. Ведь это, если не ошибаюсь, совсем рядом с нашим маэстро, седовласым соколом, обосновавшимся со своей Юноной в обители Марса”.

Пока Ника пытался переварить эту абракадабру, машина влетела в узенький переулочек и остановилась перед ампириным особняком с окнами, уже светящимися бледнозеленым светом. Перед особняком стояла — Ника даже забыл на время о новых санках — машина. Двухместный, с широкими крыльями и огромными колесами “Бьюик-Спорт”, нигде и никем не виданный. У машины, поставив ногу на подножку, стоял человек. Даже в сумерках было видно, что он очень бледен. Он был в военной кожаной тужурке, кожаных крагах и штиблетах. Фуражка с темно-красной, тускло светящейся звездой тоже была кожаная и лежала на колене. “Вот как прекрасно, как прекрасно! — бодро крикнул Вальдемар Густавович. — Мой дорогой Самуэль, вы и будете тем энтузиастом, который доставит это доцентское дитя к месту его свидания, боюсь, однако, что уже с неминуемым опозданием. Едем, Боря”.

Самуэль усадил Нику в Бьюик, и вдруг резко спросил: “Что означает весь этот вздор?” Когда уже всерьез испуганный Ника быстро рассказал ему, что произошло, и что теперь, вроде, все равно уже поздно, Самуэль надел фуражку и произнес почти вдохновенно: “Ты знаешь, кто эти люди — Борис и Вальдемар? Они — ублюдки Левиафана. Если хочешь доставить им удовольствие, побег и спроси их про доктора Гильотена. Ха-ха-ха! Они втихомолку побаиваются Конвента, не понимая, что Якобинская диктатура уже была, и что грядет Варфоломеевская Ночь!”

В переулке было необыкновенно тихо. Самуэль сел за руль, и Ника увидел, что лицо его было мокро от слез. “Я не боюсь смерти. Я жутко боюсь смирительной рубашки и кляпа во рту, — прохрипел он. — Левиафана надо связать и заставить работать на прогресс, на культуру, на жизнь. Если же не удастся его обуздать, тогда надо его раздавить — целиком, с мясом, с костями и кожей. Пусть снова будет свалка! Пусть безумный Лев опять окажется прав! О Господи, что же мне делать? Я

знаю, что ты ничего не понимаешь, но вдруг ты случайно угадаешь, что мне делать?”

Странное дело, но Ника, не понимая значения большинства слов и выражений, которые он услышал в тот день, чувствовал их внутреннюю связь, за которой поднималось некое новое значение, одно для всех этих слов и выражений, но не связанное ни с одним из них в отдельности. Именно тогда Ника почувствовал, что боится слов и фактов вообще, но несколько не боится окончания своего личного существования (в 1961-ом Геня говорил о нем: “Он был бесстрашен, так сказать, “биологически” неустраним”.)

Когда они приехали на Обыденский, было совсем темно, и у забора нашего дома никто, конечно, Нику не ждал.

Первое, что он увидел, вбежав в свою квартиру, были новы е с а н к и. Они стояли посреди передней, и маленькая Женя, его младшая сестра, ничком лежала на них, влюбленно глядя полозья. Ника лег на пол рядом и упоенно погрузился в счастливый вечер Московского детства. И когда он уже почти заснул от усталости и счастья, то вдруг услышал из-за неплотно прикрытых дверей столовой кричащий голос, в котором, несмотря на искажения, вносимые истерикой, нельзя было не признать голоса Анатолия, да и санки свидетельствовали о том же.

Анатолий: Вы сидите здесь и скрываетесь! Вы меня бросили! Вы нас бросили! Вы еще более жалки, чем о н и !

Дедушка: А вы не думайте обо мне, Анатолий Юлианович, и не думайте о н и х. Думайте о себе.

Анатолий: Семь лет назад я видел, как один крестьянин просил хлеба на углу Остоженки, с двумя маленькими детьми. Он мне сказал, что жена, другие шестеро детей и дед с бабкой — все умерли от голода. А я нес в руках коробку елочных игрушек, и карманы моего пальто были набиты шоколадными конфетами. Я был готов умереть!

- Дедушка: Так вы же не умерли тогда, Анатолий Юлианович. Вы... решили остаться, а?
- Анатолий: Ну конечно! Вы бы предпочли, чтобы я лежал в снегу вместе с его детьми и чтобы некому было теперь говорить вам все это!
- Дедушка: Я только хотел бы, родной мой Анатолий Юлианович, чтобы вы знали, что с вами случилось. Вы тогда просто выбрали жизнь. И сейчас продолжаете это делать. А тот крестьянин в семнадцатом — а не он, так его братан или зять — смотрел, как все пылает вокруг, и, тоже... выбрал... э т о. Думал, должно быть, что обойдется как-нибудь. Затянется. А потом он — или брат его, или сват — в комбед, а вы — в ассистенты к Сергею Михайловичу. А все думаете, что это с вами кто-то д р у г о й что-то делает. А д р у г о м у - то и делать ничего не надо — сиди да посмеивайся. Я вчера по Никитской шел. Навстречу Леночка бежит, дочка Евгения Евгениевича, бывшего Ваниного сослуживца. Вся трясется и плачет. Третьего дня узнала от родичей однодельцев, что отца в тюрьме расстреляли. Вот горе-то, говорю, а куда теперь бежишь? "На Корто, — отвечает. — Знаете, билеты достать было совершенно невозможно". Так вот, я думаю, что Сергей Михайлович ваш тоже там был, в Консерватории, то есть. И вы — тоже. Да, может, и младший брат того крестьянина с Остоженки, если выжил тогда и до Москвы доучился. Все вы там были — на Корто! А так, день прошел, опять страшно стало, опять жалуетесь, сердитесь: убивают вас, мучают. Так вы сами же это и выбрали — мертвых никому не убить.

(Ника не успел снова испугаться, как...)

- Анатолий: Вы хотите прекратить всякий динамизм, всякую жизнь...

Ника с удивлением решил для себя, что сегодня — именно такой день, что все спрашивают, что им делать, и спрашивают, почему-то, именно членов его семьи. И вдруг понял, что человек, отвечавший Анатолию был вовсе не дедушка Тимофей, а кто-то другой, третий. Но кто?⁷ И тогда едва слышная речь деду (в этом уже не могло быть никаких сомнений!) заполнила весь воздух и тьму в коридоре.

Дедушка: Я очень хорошо знаю, чего вы хотите сейчас, Анатолий Юлианович. Чтобы я вам сказал: сделайте то-то и то-то, как ОН велит, да? Но для того, о чем вы просите — поздно. Для другого же — рано еще. В нынешнем промежуточном времени надо смыслы пропускать через себя. А это посылно сделать только когда ты замер, недвижим, как мертвый. Ты — стоишь, а они — идут. И не бойся, ибо все сделано, чтобы ты остановился

На следующий день они сидели втроем на нашем дворе, и у них произошел следующий трехфазный разговор.

Роберт сообщил Гарику и Нике, что он принят в Комсомол, ибо это совершенно необходимо для его последующего поступления в артиллерийскую спецшколу. Это, в свою очередь, связывалось с планируемой им, Робертом, войной с Германией ("она безусловно неизбежна"), которая предоставит ему возможность еще в ранней молодости выдвинуться и получить хорошее звание. В Комсомол его приняли — единственного в классе — вместе со старшеклассниками, за "отлично" по всем предметам и за успешное руководство классной стенгазетой "Орленок".

7 Позднее выяснилось, что кроме дедушки и Анатолия в столовой находились еще двое, одним из которых был, не произнесший ни слова Геня. Заканчивая свой рассказ об этом разговоре (разумеется, не имеющий ничего общего с тем, как он изложен здесь мною), Геня заключил словами: "С тех пор я и свихнулся". Я лично думаю, что Ника тогда тоже "свихнулся", но совсем в другом роде: он, по-видимому, в первый раз осознал себя свихнувшимся. Потому-то — повторяю — у него не нашлось времени испугаться.

Гарик заявил, что войны с Германией не будет, но будет война с Японией, и что японцы после Китая займут всю Россию (кроме Кавказа, который займут англичане, и Южной России с Одессой, которая достанется французам). Москву японцы займут тоже, и сразу же перестреляют всех комсомольцев. Поэтому он, лично, не одобряет вступления Роберта в Комсомол. Хотя, конечно, Роберт, как армянин, может поехать на Кавказ и занять высокий пост в будущей Англо-Кавказской Армии.

Ника подробно рассказал о том, что он видел и слышал накануне. Гарик сказал: "Почему этого человека зовут Самуэль? Он должен был называться Самуил. Это — странно. И чего он боится, если его все равно убьют?" По поводу Анатолия Гарик решил, что тому нечего бояться, пока он не поедет вместе с Сергеем Михайловичем за границу. По возвращении же, его, по-видимому, убьют, а Сергей Михайловича на время оставят, а потом — тоже убьют. Что же касается призыва дедушки "быть как мертвый", то это — просто тривиально, ибо каждому сведущему человеку известно, что колдуны (по-видимому, как добрые, так и злые) обычно вселяются в тела (как мертвые, так и живые) других людей. "Так стань же мертвым, чтобы дать им возможность действовать!" — воскликнул Гарик.

Разговор явно перемещался в область магии. И тогда Роберт заметил, что самое интересное из рассказанного Никой, это слова дедушки о с м ы с л а х. И что об этом написаны десятки книг, преимущественно на никому не известных языках. И что сам он читал, что смыслы "помещаются" зачастую в вещах абсолютно неживых и неподвижных, например — в узорах ковров. И что есть особые люди, которые умеют читать смыслы в коврах и анаграммах, например, — некий Георгий Иванович, которого дядя Роберта, Самсон, лично знал в Москве, в конце десятих.⁸

Так закончился разговор об этом дне.

⁸ Спустя 37 лет, Ника, я и английский ученик "позднего" Георгия Ивановича, Брайен Хатчисон, сидели в ресторане, в Ист-Энде. Ника пересказывал этот разговор Брайену, а я не мог понять, почему тот, вместо того, чтобы давиться от смеха, продолжает серьезно есть.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ: ПРОДОЛЖЕНИЕ РЕЛИГИОЗНОГО ВОСПИТАНИЯ; ОБРЫВКИ РАЗГОВОРОВ О СИЛЕ, ДИАЛЕКТИКЕ И ДУХЕ

Боюсь, что многое в этой главе — результат моей фантазии более, чем память о фактах. Однако, едва написав эту фразу, я сообразил, что и ее достоверность весьма сомнительна. Ведь если у меня плохая память (а она у меня действительная плохая), то откуда я знаю, что я запомнил, а что выдумал? Поэтому сейчас я склоняюсь к более компромиссной формулировке: я думаю (не помню, а думаю), что содержание высказываний здесь передано верно, хотя способ их соединения и обрамления — безусловно мною придуман.⁹

Но только теперь, когда я вновь задаю себе все тот же нелепый вопрос — почему за все мое довольно долгое детство, я так ни разу и не видел Нику? — ответ оказывается довольно простым: да потому, что почти все время моего общения с ребятами во дворе проходило в играх в войну, в аресты и допросы врагов народа (включая расстрелы и пытки), и в разговорах про то, что происходит между мужчиной и женщиной, когда они остаются одни. Очевидно, что эти темы Нику в то время не интересовали и, хотя некоторые из его привычных собеседников и предавались, время от времени, этим военно-эротическим утехам, но, видимо, гораздо реже, чем я. Поэтому их редкие разговоры со мной о вещах абстрактных или мистических могли и не совпадать с их разговорами с Никой на те же темы.

Нет ничего удивительного в том, что Ника сначала узнал о Георгии Ивановиче, а потом о Гегеле, ибо о последнем Роберт рассказал мне только в начале марта, 1938-го, а он всегда лю-

⁹ Забавно, что после "высшего" докторского экзамена по теоретической механике в Льежском Политехникуме (в конце 40-х), профессор, который экзаменовал Нику, так прямо ему заявил, что "память у вас необыкновенная, но воображения маловато". Рассказывая мне об этом, Ника все еще удивлялся: "Ну, как это он не понял, что я ничего не запомнил, а все, буквально все — выдумал!"

бил "выстреливать" только что полученной информацией по нескольким лицам одновременно.

Итак, Роберт находился в состоянии радостного подъема, который он объяснял тем, что пока ехал от зубного врача домой на двух трамваях, выучил все уроки на завтра и прочел старую брошюру о Гегеле. "Гегель был создателем универсальной научной методологии, — возбужденно говорил Роберт. — Его Идея-Дух и есть л о г и ч е с к о е развитие идеи и с т о р и ч е с к о г о Бога, Бога Моисея и Иисуса Христа. Если бы немцы — и вообще люди — послушались бы Гегеля, а не субъективных идеалистов или материалистов-эмпириков, то вечное трагическое противоречие между научным мышлением и религией было бы навсегда устранено". "Не хочу тебя огорчать, — сказал дедушка, когда Ника передал ему основные положения Робертовой Гегелианы, — но, кажется, это все не имеет к тебе ни малейшего отношения". "Да, я понимаю, — сказал Ника. — Гегель хотел быть как бы пророком для немцев и вообще тех, кто жил в его время. А теперь это просто не воспринимается, да?" "Не хочу быть несправедливым к этому человеку, — сказал дедушка, — но боюсь, что то, о чем он учил, никогда не имело отношения ни к одному отдельному человеку. А это значит, что и учения-то никакого не было. Кроме таланта и силы, конечно. Гегеля даже не коснулся Огонь Божественной Персонологии. Но он все же был велик и честен. Его последователи — жалкие люди, наделенные только упрямством и жадной действия, но полностью лишенные... Силы Сознания. А у кого нет силы, тот обречен на слабость. А слабость — жестока и лжива. О честности здесь и говорить нечего".

Находившийся здесь же Анатолий, худой и желтый после тяжелого гриппа, заметил: "А вы, Тимофей Алексеевич — почти агностик". "Ну и ну, — покачал головой дедушка, — а вот Владыка упрекал меня в том, что я — гностик".

Мы сидели на помосте, воздвигнутом на заднем дворе (между помойкой и угольным складом) для концертов художественной самодеятельности рабочих Метростроя. Начал, как обычно, Гарик: "Моя бабушка вчера сказала, что Шикзаль —

выше Бога. То есть главнее. То есть, что даже у Бога есть свой Шикзаль". Бабушка, Анна Максимовна, будучи по матери немкой, имела обыкновение обо всех важных или интимных вещах говорить по-немецки. Что, также, имело своей побочной целью поддерживать немецкий Гарика. Отсюда — Шикзаль". Папа же заявил, что все это — вздор, и что они могут его убить, когда захотят, судьба или не-судьба, и что я должен наконец, понять, что..." "Мой обожаемый Гарик, — прервал его Роберт, — а что ты сам думаешь, мое бесценное пухленькое сокровище?" "Сам я уже все решил по этому поводу, — сказал Гарик, — и, по-моему, у меня великолепно получается. Начнем с с о и т я (Гарик был ужасно горд введением этого слова вместо официального — "половые сношения", или дворового — на букву "е"). Итак, в самом начале все — случайно. Он и она встретились — могли и не встретиться. Сперматозоид оплодотворил яйцо — мог и не оплодотворить. Затем протекает беременность — а могла и прерваться вследствие, скажем, выкидыша, или преднамеренного аборта (за неделю до того Гарик тайком проник на публичную лекцию профессора Артаболовского "Аборт и борьба с ним"). Потом, если ребенок не умирает при родах или в раннем возрасте, то... здесь он сделал большую паузу — ну, вообще, роль случая резко ослабевает. И так — до старости, когда она снова возрастает. Смерть — так же случайна, как и рождение. то есть, человек может умереть по одной или по другой причине. Так, например, человек заболевает раком, и врачи говорят, что жить ему осталось три месяца, да? Как с дядей Валей, маминым братом. Так нет же! Через десять дней после этого, его любовница Надежда Юльевна убивает его из пистолета по причине ревности. Значит, дядя Валя на 80 дней не дожил до срока, отпущенного ему — и к е м! — главным онкологом Кремлевской больницы! Следовательно — рождение и смерть — совершенно случайны, а то, что между ними — более или менее причинно. Рождение и смерть скрыты от нашего разума, устанавливающего причинные связи и поэтому мы говорим: Судьба, Бог, Случай. А то, что посредине — совсем другое дело, и мы говорим: "человек — кузнец своего

счастья" и все такое. Оттого взрослые — если у них нет свиданья, концерта или ночной работы — идут в клуб на лекцию "Религия — пережиток темного прошлого". Что совершенно правильно, ибо зачатие и внутриутробный период — темное прошлое каждого человека, и это и есть о б л а с т ь р е л и г и и. Потом, по мере того, как человек развивается, все проясняется и он становится атеистом. А с наступлением старости, темнота и неопределенность смерти снова надвигаются на него — подобно темноте и неопределенности, которые он пережил, когда находился в матке — и он снова начинает думать о случае, судьбе, Боге, да? Бабушка говорит, что если старый человек ходит на антирелигиозную лекцию, то он — старый дурак. Хотя мама говорит, что если старый человек ходит на свиданье, то он — старый козел. Она, очевидно, имеет в виду папу. Но ведь папа, по-моему, совсем еще не старый. Он только недавно говорил дяде Вале, что дай ему отдохнуть пару месяцев в санатории, в Кисловодске, так он..." "Папа твой — совершенно особая тема, — опять прервал его Роберт, — и не отклоняйся, пожалуйста, от основной линии рассуждения. Преждевременное половое созревание явно мешает твоему мыслительному сосредоточению. Ты безусловно схватил что-то в отношении судьбы, но, как всегда, не проработал схваченного. Итак, начнем с древних индусов. Геннадий Сильвестрович цитировал мне вчера из "Господней Песни Гиты": все сущее является всегда в трех фазах — не проявленное, проявленное, опять не проявленное. Это — почти как ты сейчас говорил. Человеческое сознание может осознавать только проявленное; хотя само оно исходит из непроявленного, оно являет себя себе проявленным, пока снова не избудется в непроявленном. Теперь, подумайте хорошо, милые мои переученные и ничему не научившиеся деточки, что оно, сознание, делает? — знает. Отчего же тогда мы говорим — "случай"? Как ты думаешь? Ха! Да оттого, что мы знаем, что что-то там есть, но не знаем, что и м е н н о! Знание плюс незнание — вот, что "частично знающий" называет случаем. Но даже если я соглашусь с тобой, что рождение случайно, то как может быть случайной смерть?

Согласен, ни того, ни другого ты не можешь з н а т ь, но незнанные нами вещи и обстоятельства — различны, а то, что Знатель знает — о д н о. Одно Сознание, Один Дух, Атман, знающий Себя, как непроявленное, но вечно сущее и вечно осознающее. Поэтому, Геннадий Сильвестрович так и закончил о судьбе: судьба есть только у полу-знающего; тот, кто з н а е т — выше судьбы; тот, кто н е з н а е т — ниже судьбы. То есть, у него ее нет, и после смерти он пойдет в “переплавку”, так сказать, помните, как в Ибсеновском “Пер-Гюнте” Пуговичник угрожал? Такой, если когда и возродится, то это будет уже в другом Зоне, и не будет у него возвращения к с е б е, ибо некому будет возвращаться...”

Гарика позвали ужинать, и я пошел проводить Роберта. “Я так боюсь, что все это быстро забуду”, — сказал я ему.

Над генеральским домом взошел необычайно яркий месяц. Из окна играла пластинка “Эх, Андрюша!” Мне показалось, что Роберт стал очень грустным. Прежде чем нырнуть в свой подвал на Курсовом, он взял меня за руку, и сказал: “Ты — еще совсем маленький мальчик. Конечно, ты забудешь. А потом — с л у ч а й н о вспомнишь. Я тебя гораздо старше, мне будет тринадцать. Мне сейчас стало страшно оттого, что я знаю, что если забуду, то по-другому. Может быть, скоро, я з а х о ч у забыть, а потом не смогу вспомнить”.

Начало регрессии. В этом месте рассказа заканчивается детство. Я знаю, что нет точки или мгновения, от которого можно было бы к нему вернуться. Но наступает момент, от которого мы р е г р е с с и р у е м, о т с т у п а е м в н и к у д а — куда бы мы ни двигались. И тогда рассказ становится чужим и искусственным, даже если он трогателен или занимателен. Регрессия — это уступка сознания условиям нашей внутренней жизни, когда она уже начала о т д е л я т ь с я о т ж и з н и с о з н а н и я.

Воспоминания, изложенные в трех следующих главах — регрессивны.

ГЛАВА ПЯТАЯ; РЕГРЕССИВНАЯ ИНТЕРЛЮДИЯ: КОНФЕРЕНЦИЯ С ДЕДУШКОЙ ТИМОФЕЕМ

Пожалуй, никогда еще я не был так близок к не посредственному знакомству с Никой, как в тот ошеломительно тихий весенний день 12-го мая 1938-го г. День этот, как все сколько-нибудь памятные дни моей жизни, был отмечен л о ж ь ю. Точнее, несколькими обманами, равно угрожавшими раскрытием и справедливым позором наказания.

Итак, утром (день был выходной) мне было велено купить в магазине, на уже переименованной в Метростроевскую Остоженке, ливерной колбасы, шпрот, масла, хлеба и, не тратя денег ни на что другое и не останавливаясь по дороге для рассказов и расспросов, незамедлительно вернуться домой. Однако, выполнить это оказалось совершенно невозможным, ибо, едва выбежав из ворот, я налетел на Гарика Першеронова. Гарик объявил, что всю ночь не спал, а читал "Мужчину и Женщину" и что теперь он решительно в с е знает; впрочем, уже и раньше он п о ч т и все знал, а многое и видел (подсматривая за частной жизнью квартиранта Арсения). Кроме того, уже совсем доверительно, он сообщил мне, что "в результате новейших исследований установлено" (эту сакраментальную формулировку я слышал сотни раз из уст папы, его и моих друзей и разных других людей), что половая жизнь человека начинается рано, о ч е н ь р а н о, а потому ее и надо начинать как можно раньше, "чтобы потом не стать инвалидом на всю жизнь".

С этим он и убежал, оставив меня в состоянии агонии. Надо было что-то решать. Верный инстинкт (не-половой!) подсказывал, что ни одна серьезная проблема, сколь бы ни далека была она от денег, не может быть решена при полном их отсутствии. Поэтому, колбасу и масло я купил самые дешевые и, скрыв их истинную цену, "удержал" оставшееся для возможного применения в течение дня. После этого мне было приказано немедленно сделать уроки на завтра, на что я, удачно симитировав полную покорность судьбе, заметил, что раз папы дома

нет, то без него решить четыре арифметических задачи будет едва ли возможно, а потому необходимо сбегать к Гарику, чтобы он помог. Конечно, это была тоже — чистая ложь, ибо Гарик на сегодня был мне уже совершенно ненужен, но решительно необходим был Роберт, ибо только он, и никто другой, был бы в состоянии подтвердить или опровергнуть информацию Гарика.

Роберта я застал глядящим брюки и — по его собственному выражению, которое я и применил в начале этой главы — “ждушим услад от этого ошеломительно тихого весеннего дня”. Однако, приступить к разрешению проблемы пола он наотрез отказался, заявив, что безумно хочет пива — после завтрака, состоявшего из селедки с картошкой, но что денег на это у него нет. Я сразу же предоставил в его распоряжение утенную сумму, которой хватило на две кружки, правда не пива, а неопикуемой по неопределенности вкуса, браги. Ее в ту весну вдруг стали продавать на улицах из цистерн.

Когда мы, наконец, уселись на скамейке в самом начале Гоголевского бульвара, Роберт сказал: “Гарик — слишком восприимчив и примитивен, как, впрочем, почти все преждевременно физически развившиеся мальчики. Ты постарайся понять, что стремление к половому акту и сам половой акт — возникают не о б х о д и м о. Но они м о г у т индуцировать в тебе такие рефлексивные и интенциональные состояния, которые по самой их природе н е н е о б х о д и м ы. То есть, мы сами, в какой-то мере решаем, случиться этим состояниям или нет, а также, когда и где им случиться. Человек, который видит в половом акте только необходимость — уже инвалид, ибо он наперед лишает себя возможности выбора этих состояний. Я ни на мгновение не сомневаюсь, что хоть э т о ты можешь понять”.

Я ровно ничего не понял, но мне стало почему-то гораздо легче. Покинув Роберта, я побежал домой, боясь, что если меня долго не будет дома, то мама может позвонить Гарику. С ним же я немедленно и столкнулся у тех же самых ворот. За прошедшие два часа он полностью забыл о проблеме пола, и был явно поглощен какой-то новой идеей. Пропустив мимо ушей мой торопливый пересказ сказанного Робертом, он важно при-

щурился, положил руку на лацкан моей вельветовой куртки и веско произнес: "Да ты ведь не знаешь, что тебя сегодня ждет". — "Что? Что? Говори скорее!" — "Сегодня нас посетил Геня и обедал с нами. Он и сейчас еще в столовой, беседует с отцом. А мать плачет на кухне, что он опять себе завел новую женщину". — "Да говори же, наконец, что сказал Геня!" Гарик выдержал паузу и продолжал: "Геня сказал, что Ника Ардатовский хочет с тобой лично познакомиться. Это, я полагаю, сегодня и произойдет. Ты ведь знаешь Леонарда Адольфовича из третьего подъезда, у которого почти парализованы ноги? Так вот, сегодня вечером он придет посидеть на переднем дворе, возле клумбы, и дедушка с Никой придут его навестить. Дедушка когда-то хорошо знал Леонарда Адольфовича и очень его жалеет. Ты к нам спустишься до ужина, а я буду иметь честь лично представить тебя этим двум совершенно необыкновенным людям".

К вечеру у нас ожидалась гости. Во время обеда я, во-первых, соврал, что "почти" сделал все уроки, а во-вторых, выдумал, что мне будет крайне необходимо вечером отлучиться на пять-десять минут, чтобы... "помочь полить клумбы из шланга", но что к приходу гостей я безусловно буду дома.

На всем наклонном и вытянутом прямоугольнике Обьденского наш дом был единственным домом с передним двором. Передний двор был не только всегда чисто прибран, но, так сказать, и морально чист тоже. Наш задний двор был грязен и гораздо более посещаем бедными детьми и хулиганами с "самого заднего" двора, отделенного от него складскими помещениями и огромной помойкой.

"Позвольте вам представить моего высокоталантливого, хотя и весьма молодого друга", — низким голосом сказал Гарик, описав левой рукой полукруг над головами сидящих на скамейке у клумбы дедушки, Леонарда Адольфовича и Гени. Ники не было — у него в тот день заболел живот. (Опять "не случилось" и — в последний до 1974 года раз!). Мне жутко захотелось произнести что-нибудь интересное, но мыслей никаких не было — слишком волновался, должно быть.

"Я стал страшно впечатлительным, — сказал Леонард

Адольфович. — Ты знаешь, Тима, у меня сегодня с утра не было абсолютно никакого аппетита. Так вот, следовательно этот, Егшин, — абсолютно лишенный всякой культуры человек, ни малейших следов культуры в нем и не ночевало...” Я взглянул на Геню и увидел в его глазах пламенное веселье. Три года спустя Роберт сказал: “Генечка — почти такой же с и н к р е т и ч е с к и й р у с с к и й, как и я. Мы, способные инородцы, овладевая идиомой, можем в отличие от русских воспринимать ее и а н а л и т и ч е с к и, а не только по смыслу воспринятого. В этом — неисчерпаемый источник веселья”.

“Он мне прямо, — продолжал Леонард Адольфович, — ты, говорит, остзейская жопа, у меня еще говна наешься, ты извини, Тима, что я так при молодых людях. А я все свои силы, после стольких бессонных ночей, собрал и ему: “Альфусы, говорю, не остзейцы. Вы абсолютно не имеете никакого представления о фамилиях нашего края. Мы — евреи, во втором поколении крещенные в лютеранство. И я не могу поверить, чтобы уважающая себя держава смогла стать великой без никеля. Когда у меня в 1934-ом ноги начали отниматься, так меня на носилках в цех приносили”.

Тут в неоконченный разговор о никеле вмешался Гарик: “Папа сказал, что шельмование честных специалистов представляет собой возмутительное разбазаривание ценных кадров...” Мне стало очень завидно Гарику, как у того потрясающе получается. И тут я заметил, что Тимофей Алексеевич смотрит на Геню.

“Эти люди, — тихо произнес дедушка, — совершали чудеса самопожертвования, преданности и доброты, но у них не было с о з е р ц а т е л ь н о с т и. А где нет созерцательности, там нет и с о з е р ц а ю щ е г о. Ты, Генечка, не смейся, пожалуйста, над Лениным никелем. Вот ты вчера прибежал — в восторге от Шкловского. Тут, пожалуй, и не думал смеяться, а? А ведь активность-то у них — о д н а. Одна и та же — у Лени и у Шкловского, одно и то же отсутствие способности к созерцанию. И о н, один и тот же, — н е с о з е р ц а ю щ и й. Он, талантливый, производит никель и формальное литературоведение

ние, турбину, новую пушку, удивительную, и даже — психологию. Нет никакой разницы кто и что производит, ибо в несозерцающем нет кого. Но Боже, что с этими талантливыми делают! О, скажи лучше, чего только с ними не делают! Их мучают в застенках, производят в командармы, посылают получать первые премии на международные конкурсы, отправляют умирать на Север, как отца Павла, или шлют на тот же Север за славой, как Отто Юльевича (я знал их обоих в юности). Но их всегда унижают, унижают больше даже, чем бьют. И чем больше их унижают, тем глуше становится их беспамятность о самих себе, и тем окончательнее — их самососредоточенность, их почти научная по фактической тщательности, регистрация обид, настроений, болей и переживаний. У тебя-то, у Роберта, у Саши, может иммунитет какой-нибудь выработается. Да вы, я думаю, и умрете своей смретью”.

“Ты совсем спятил, Тима! — почти закричал Леонард Адольфович. — Ты, черт дери, что д е т я м говоришь, идиот! Они-то, прежде всего должны понять абсолютную ценность культуры. Вот я, недавно, на Анне Карениной был — там была такая толпа, что с а м Г и к с (начальник Московской милиции) приезжал порядок наводить. И ты бы видел, как абсолютно корректна была милиция, а? Это же такая могучая тяга к культуре, за которую и м все можно простить!” “Роберт говорит, что культура релятивна”, — начал Гарик, но Тимофей Алексеевич погладил его по руке, как бы предлагая подождать, и еще тише продолжал: “Насчет релятивности культуры, это так же верно и неверно, как насчет абсолютности никеля. Это — как кому. Для одних культура — релятивна, для других — абсолютна, для третьих — ее просто нет. Наши мальчики, пожалуй, вместо Царствия Божьего унаследуют от своих послушных творческих отцов... что? Не знаю. Но повторенья не случится. Не выйдет из них ни Льва Оборина, ни Эмиля Гилельса, ни Леваневского, ни, даже, следователя Егошина. Не будет в них отцовской активности, но и созерцательность к ним не придет из н и о т к у д а. Нет, им от отцов за одно поколение не отвязаться! Их даже мучать не будут, ведь мучители — активны, и

выродятся за пол-поколения. Все станут гораздо менее активными и менее продуктивными, те, я говорю, которых не убьют в ближайшие пятнадцать лет. Но из слабости одного не рождается сила другого. Беда не в самой активности, а в том, что активные духовно бесплотны, как любил повторять мой кузен, отец Виктор. Они живы только в движении. Останови их, и они рассыпятся, как духи промежуточных состояний и ступеней мытарских. Но, боюсь, что мир этих мальчиков будет, хотя и менее жуток, но более жалок. Как бы в нем не задохнуться будущему созерцателю”.

“Послушай, Тима, — обиженно прервал дедушку Леонард Адольфович, — это же абсолютный нонсенс. Кому ты все это проповедуешь? Для меня, это — чушь и белиберда. Гарик и Саша и так не поняли не слова...” “Ну, тогда это — для Гени”, — сказал дедушка.

Когда я прибежал домой, гости уже прибыли. Мой двоюродный дед (“дядя” — на языке нашей семьи), недавно, и относительно благополучно вернувшийся из Кунгурской тюрьмы, Эфраим Львович, сидел на диване, в франтовской жилетке и расстегнутом английском двубортном пиджаке. Другой гость, первый альт Гос. Оркестра, Гордон, спорил с папой о чем-то, а на столе стояла очень красивая бутылка Крымского Южно-бережного портвейна. Пока я обнимался и целовался с дядей (которого страшно любил), мама ставила на стол ужин.

“А я утверждаю”, — громко говорил папа, — “что ни производить спектрографический анализ металла, ни играть на вашем альте без культуры невозможно”. — “Культура — релятивна”, — поспешил вставить я, наконец-то вспомнив ссылку Гарика на Роберта. Все изумленно (так мне показалось) замолчали.

Гордон обернулся ко мне, и совершенно серьезно спросил: “Культура релятивна чему?” Пот позора уже начал заливать мне лоб и глаза. “Да очень просто, — отвечал я, предвосхищая в этом вступительном обороте ораторскую манеру моего будущего друга и мэтра Московских методологов Георгия Петровича, — “она релятивна лежащим в нее ее духовным целям ее носителей и, одновременно, их интенциональным со-

стояниям, например — созерцательности”. “Странно, — проговорил Гордон, — “и не очень похоже на то, чему меня учили в Марбурге. Это несколько похоже на феноменологию, но я, к сожалению, так и не побывал во Фрейбурге. Мне пришлось оставить мои занятия философией и покинуть Германию в 1927-ом”. “По-моему, ему надо подать заявление в Царскосельский Лицей, — улыбаясь сказал дядя. — Очень красивая была школа”.

Гордон хохотал басом, а папа, конечно, был очень горд за мое “представление”, хотя и недоволен его непозволительной развязностью.

Согласно позднему рассказу Гени, вечером того же дня Анатолий говорил дедушке, что революционный большевистский режим высвободил бешеную энергию в средних слоях населения, и что иная, современная модификация этого режима эту энергию стала душить. Дедушка возражал. Конспект этой беседы таков:

Дедушка: Активность, о которой вы плачете, так же косна, как наша замечательная пассивность. Ни в том, ни в другом нет л и ч н о с т н о г о бытия, нет индивидуального сознания. Вот сами вы, Анатолий Юлианович, такого в беспамятстве наворотили, что и подумать было страшно. Так вы — и не думали, ведь победа-то была в а ш а. А как оставили вас, так страшно стало, и — опять не думаете. Никто из вас не думает, — ни те, кто жаждет реванша, ни те, кто молит о передышке, ни те, кто лишь слабо надеется выжить. Но если это случится, и вы выживете, то тогда придет к вам самое страшное, — тогда окажется, что вам не о чем будет говорить, а другим будет нечего о вас говорить. И дети ваши будут жалки (если они у вас будут), ибо из-за отсутствия в вас б ы т и я, в них не будет н и ч е г о. Даже ужаса вашей жизни не будет. С ними — просто н и ч е г о н е случится.

- Анатолий: Мне стыдно за тех, кто хочет только выжить...
Дедушка: Чепуха, мой дорогой, чисто русская чепуха! Здесь всегда стыдятся за другого. Стыд за другого стал формой нашего самосознания. В 1918-ом я пришел на лекцию Василия Васильевича, которого очень любил еще по прежним петербургским встречам. После лекции он еле отбился от дам и барышень, и мы прошлись немного. Как дошли до Гагаринского, так он остановился вдруг, и мне: "Так вы, конечно, считаете, что я с ними суров, нелюбезен, высокомерен, да? Так нет же — говорит, — я их люблю. Да только их вовсе не интересует, что я им рассказываю. Они мной восторгаются, и за меня же стыдятся". "Так чего же, — спрашиваю, — стыдиться?" — "А я вам расскажу. Одна такая барышня, давно еще, все меня целовала, ласкала, и приговаривала: "Я обожаю вас, чудного, замечательного, но мне все равно за вас отчего-то стыдно". "Да отчего же? — спрашиваю, а самому — горько и мутно". Я оттого и вспомнил о Василии Васильевиче, что вы, Анатолий, как та барышня, вы о себе не думаете, а оттого и другого не видите.
- Анатолий: И этой переулочной мудростью вы начинаете Нику, нашего удивительнейшего, смешнейшего Нику!
- Дедушка: Нет. Это — для вас, а не для Ники. У Ники слишком велика способность к незаинтересованной имитации жизни. Я не шучу, ведь все происходящее не только страшно, но и — забавно. Пройдет года два, и он превратится в своего человека. А страшнее этого ничего и быть не может.
- Анатолий: Нет! Никогда он не станет их человеком!
- Дедушка: А не все ли равно — их-ли, вашим-ли, Роберта, Гарика? Он не должен стать своим ни для кого. Понятно?

ГЛАВА ШЕСТАЯ: 14-го ИЮЛЯ 1938-го г., 4—5 ВЕЧЕРА

Найти и записать этот кусочек оказалось чрезвычайно трудно.¹⁰ Главное — пришлось пожертвовать по крайней мере двумя версиями дворовой легенды о Фиолетовом экспрессе, на котором, якобы, Ника от Москвы доехал прямо до Мадрида. На самом же деле, они ехали без пересадки до Берлине, а оттуда другим поездом до Парижа. В Мадриде Ника вообще никогда не был.

Это начало происходить где-то после полудня. Ника ходилась именно в том состоянии, которое Роберт называл "полной недосыгаемостью себя для себя самого". После обеда у него заболел живот, но не настолько, чтобы можно было пожаловаться дедушке. Он выглянул на улицу — никого, кроме ж у т к о г о я р к о г о с о л н ц а. Вернувшись, он обнаружил — на этот раз без всякой радости — что дома б у к в а л ь н о никого не было. Он положил голову на покрытый клеенкой стол. В столовой, с одним высоченным окном, выходившим на глухую стену соседнего двора, было необычно темно. Нике вдруг захотелось горячего чая. Он поднял голову и... увидел дедушку. Тот сидел прямо, спиной к окну, немного откинувшись, с руками, сложенными на коленях. Он не смотрел на Нику. Нике почему-то стало холодно в затылке. И такой это был разговор.

Ника: Дедушка, мне сейчас противно.

Дедушка: Ничего, посидишь в холодке немного, а потом выйдешь на улицу, и все пройдет.

Ника: Дедушка, мне сейчас совсем противно. И живот здесь совсем не при чем. Это оттого, что я вчера, при гостях, очень смешно про дьякона рассказы-

10. По-видимому, в этом случае имела место реконструкция текста, который никогда не существовал в оригинале (даже устном!) — силой обстоятельств не был предназначен к такому существованию! Гарик, например, настаивал, что все путешествие явилось "метапсихическим переносом", и продолжалось одну двадцать третью долю секунды.

вал. Я, конечно, не такой талантливый, как Роберт... но я сам чувствую, что в присутствии других начинаю говорить, как многие другие очень уж развитые дети — так, чтобы взрослым нравилось и, вообще, всем...

Дедушка: А что именно говорил Роберт по этому поводу?

Ника: [Он сказал,¹¹ что он и я скоро станем образцово-показательными мальчиками, которыми будут гордиться не только их отверженные семьи, но и вся страна. Он сказал позавчера: "Такие, как мы — нужны, а будем нужны еще больше. Нас никому не придется учить, как говорить. Мы сами всех, к черту, научим (извини, дедушка), а когда придет время и нам быть убитыми — ведь война на носу, и это не вилами по воде писано — то мы уже будем мертвы, мертвее гробовых гвоздей. Так что этого и не заметим".

Дедушка: Боюсь, что Роберт прав. Если так начинают говорить дети, которым и тринадцати нет-то, пожалуй, в н у т р и уже выхода нет.]

Ника: Что значит "выхода внутри", дедушка?¹²

Дедушка не ответил, а только потрогал лоб двумя пальцами левой руки. В затылке у Ники стало еще холоднее. По столовой плыли темные клочья облаков ("малярия начинается" — с ужасом подумал Ника).

11. Кусок в квадратных скобках — крайне предположителен. Он является более или менее точным пересказом того, что мне говорил Роберт, а не Ника. Роберт, при его склонности говорить о себе как бы в третьем лице — то есть, в пересказе третьими лицами его собственных слов — всегда сознательно стремился к усилению "эффекта объективности" сказанного им. Ника же, напротив, хотел сглаживания, ослабления прямого риторического воздействия на собеседника.

12. Впоследствии, сам Ника объяснил это выражение следующим образом.

Если человек сознательно подготовлен к определенным негативным умственным состояниям, то он может переработать их, соз-

Дедушка: Посмотри, пожалуйста, который час, Ника.

На кухонных ходиках было без двадцати пять.

Ника: Дедушка, мне очень зябко. Давай, я быстро сделаю нам чай.

Дедушка: Нет. Будет еще время чаю напитокся. Ты сейчас, пожалуйста, походи на улицу. Как раз время пришло. Да и теплее — постоишь на солнышке у подъезда. Иди, пожалуйста, но сперва поцелуй меня.

Ника поцеловал дедушку в щеку. Тяжело и долго сходил по каменной лестнице. Дверь подъезда не хотела открываться.

На залитом солнцем, узком и наклоненном к ограде строительства Дворца Советов, прямоугольнике Третьего Обыденского — н и к о г о н е б ы л о.

ГЛАВА СЕДЬМАЯ: 14-го ИЮЛЯ 1938-го г., 5—7 ВЕЧЕРА

Солнце заливало это пространство, оставляя в чернильно-черной тени двери и часть паперти Ильи Обыденского. Ника увидел, как из этой черноты буквально “выделилась” фигура человека. Но что за фигура! Даже если бы на груди и спине у него было по ярлыку с надписью “иностранец”, то и тогда факт его принадлежности к этой престранной группе живых существ не сделался бы очевиднее. На нем были бриджи, клетчатые чул-

нательно же, в п о з и т и в н ы е. Это — “йога изменения внутренних состояний”. Когда же человек к этим состояниям не подготовлен и, главное, когда у него н е т в р е м е н и на это (как у Арджуны — за три секунды до начала великого сраженья в Бхагавад-Гите), то выход может быть найден только во в н е ш н е м д е й с т в и и, резко нарушающем инерцию сознательной жизни. Это — “йога действия”. Дедушка не потому “отослал” Нику, что у того не осталось бы времени на спасение живой души, а потому, что он просто знал, что Нике “подошел срок” исчезнуть из Москвы, и уже совсем не оставалось времени на духовную работу, так сказать.

ки, огромные желтые туфли, толстенный джемпер, твидовый пиджак с большими карманами, и вязанная темно-коричневая шапочка с тугим малиновым помпоном на макушке. Светлорыжие брови, темнорыжие усики и торчащие веснушчатые уши довершали "образ дикости" (по выражению Ники). Человек подошел к Нике и ровным голосом заговорил...

Человек: Ну, вышел, все-таки?

Ника: Да, добрый день, но я... собственно, я только что вышел... Я себя не очень хорошо чувствую, по правде сказать. И... я очень хочу горячего чая.

Человек: Будет время чаю напитокся. Нам бы надо с тобою пройтись, отсюда — до Белорусского Вокзала, да? Но понимаешь, Ника, нам бы лучше этого не делать вместе. Так будет удобнее.

Ника: Простите, пожалуйста, но это... обязательно?

Человек: О нет, нет! Кто сказал слово "обязательно"? Просто — как нас любил поучать Георгий Иванович — надо крайне остерегаться слов, которые по то м могут оказаться ложью. Так что лучше нам будет пройтись до Белорусского Вокзала каждому в одиночестве и, как говорится, наедине со своими собственными мыслями. Как дойти — ты прекрасно знаешь. Затем иди прямо к платформе номер четыре, через международный салон. Если остановят, отвечай по-немецки, что путешествуешь со своим дядей Фредериком. Запомни — Фредерик (не Фридрих!). Я буду уже там, и предупреду дежурную по международной детской комнате.

Ника: Но меня могут... задержать где угодно?

Человек: О нет! Но на всякий пожарный случай тебе лучше выглядеть немножко как иностранец, да?

Фредерик мгновенно сбросил пиджак, стащил с себя джемпер, надел его на Нику и, нахлобучив ему на голову шапочку с помпоном, сказал: "Теперь — иди".

Не поднимая головы, Ника двинулся по левой стороне Второго Обыденского. Один дом, три дома. Налево по Метро-строєвской. Прямо — до Крымской Площади. У Арсенала перешел Садовое Кольцо, и опять — по левой стороне ("так и буду до конца по левой идти!"). Шапочка намочла от пота, налезала на брови и нос ("не сниму!"). Зубовская, Смоленская Пло-щадь, Новинский бульвар, мимо дома Шаляпина ("иди, иди"). Безумно жарко, и ледяной пот. Садовая Кудринская. Засунул руки в карманы, чтоб не дрожали. Ни одной мысли, ни слова про себя ("Я был заодно с названиями улиц и площадей"). Тверские—Ямские, Маяковского! Налево опять по Горького. Теперь прямо — до конца ("главное — не думать!").

Улыбающаяся молодая женщина в темно-синем формен-ном платье, с батистовым шарфиком, спросила приветливо: "Бист ду Клаусхен?", и, не дожидаясь ответа, провела его мимо пограничника с короткой винтовкой через международный са-лон, на платформу. Фредерик стоял рядом с проводником. Изо рта его торчала короткая толстая сигара. Он больно хлопнул Нику по спине, поцеловал ручку дежурной и... и тут Нике стало ясно, что он н и к о г д а не сможет подняться по ступенькам вагона международного класса. Фредерик прокричал что-то зычным голосом на неизвестном никому языке, схватил Ни-ку под мышки и буквально забросил его в тамбур.

"Где?" — спросил Ника, забыв, что спрашивает по-русски. "Что где, уборная?" — несколько опешив проговорил Фреде-рик, тоже забыв перейти на немецкий. "Нет, полка!" "Ах, Бо-же мой, сюда, сюда, вот твой диван!"

Но Ника не мог лечь. Дрожь прошла. Он сидел, как ка-менный, и называл, про себя, все предметы обстановки в купе: бронза, серебро, хрусталь, канделябр, сигаретница, бокал: стек-ло, медь, человек, пластмасса, стакан с подстаканником, Фре-дерик, термос. Фредерик застыл с закрытыми глазами над рас-крытым журналом. Поезд тронулся. Фредерик наклонился к Нике и четким шепотом: "Все. Понял? Ты уже вписан в мой бельгийский паспорт. Имя и дата рождения — те же. Фамилия — моя, видишь? Тут же вклеена твоя школьная фотография. Ес-

ли будут проверки, тебя никто ни о чем не спросит. Ты — в списке пассажиров. Так?”

Ника пил горячий чай — час, два подряд, пока не начало серьезно тошнить. Зато озноб, жар и холод — исчезли. Потом им принесли ужин: сухарики горячие с паюсной икрой, бульон с пирожками, ростбиф с жареным картофелем и шоколадный мусс. Ника заснул на диване, не раздевшись. Он проснулся через двадцать шесть часов, далеко за Брестом (Фредерик говорил, что он во сне раз десять ходил в уборную) ...

На платформе в Париже, их встретил приземистый, полный человек, которого Фредерик обнимал и называл Георгием Ивановичем, а тот его — “старым масоном”. Вечером в отеле, после обеда, Фредерик принес Нике испанско-французский самоучитель, и попросил мальчика выучить его за неделю (“Пожалуйста, Ника, ведь нам очень скоро ехать в Испанию!”).

Тридцать семь лет спустя, в ноябре 1975-го, Ника говорит: “Испанский я никогда не учил — я его моментально “подхватил”, начиная с того разговорника в Париже. Двести новых слов и выражений ежедневно, в течение шести дней — запоминать, понимать, произносить, употреблять. Я думаю, что в этих 1200-ах словах разрешилось жуткое напряжение той п р о г у л к и — от паперти Ильи Обыденского до купе дяди Фредерика. Оттого, наверное, испанский на всю жизнь остался моим “первым после русского” языком. Английский стал вторым, но уже по жизненной необходимости, а не по судьбе. Оттого, вероятно, так получилось, что я первый раз признался в любви именно на испанском (впрочем, и во второй — тоже). Он у меня — для выведения наружу чувства, так сказать. На русском мне уже давно нечего “разрешать”. На русском остается одно — свободно рефлексировать.

ГЛАВА ВОСЬМАЯ: ЧЕТВЕРО ЗА СТОЛОМ

“Итак, — начал дядя Фредерик, — мы ничего не значим, потому что ничем не можем управлять”. Человек, который встречал их на платформе, Георгий Иванович, отпил из огромной рюмки, зажег сигарету и очень медленно ответил: “Смысл в том, где поставить ударение. Мы не можем управлять, потому что еще не превратились в то, что может, или могло бы управлять. Следовательно, мы и не должны этого делать. Каждый учитель учит, как может, а ученик — учится, как может. Но не дело учителя управлять учеником, хотя тот может — то есть, для него возможно научиться управлять, по крайней мере самими собой. Реально управлять другим, значит быть сознательным орудием, инструментом судьбы другого”.

Невысокая, худая, и несомненно очень красивая девушка по имени Джоанна спросила: “А судьба, она у всех есть, да?” “Никак нет, — рассмеялся Фредерик, — судьба, это — название, обозначение определенного уровня сознания; на уровнях более низких — так же как и более высоких — о ней невозможно говорить”. “А как я могу знать — могу я управлять, или нет?” — неожиданно спросил Ника. Георгий Иванович поднял рюмку и спросил: “Ты знаешь, что я пью?” — “Нет. Но это, наверное, вино или портвейн”. Все засмеялись, а Джоанна поцеловала Нику в затылок, отчего у того пот потек со лба прямо ручьем. “Это — Арманьяк”, — торжествуя произнес Георгий Иванович, — “но я не думаю, чтобы тебе было необходимо это знать до того, как я тебя об этом спросил. Теперь же, когда я тебе уже сказал, что я пью, тебе нет более нужды об этом знать, ибо мы уже зафиксировали это как бессознательный, объективный факт, о котором, как о таковом, и говорить больше нечего. Твой же вопрос об управлении относится к тому, что не может быть зафиксировано как бессознательный, объективный факт. Оттого — возможна нужда, или необходимость, в возвращении к нему, в повторении его снова и снова. Делая это, ты будешь фикси-

ровать сознательный факт присутствия в тебе потенции и управления. Но знать — ты не можешь, и в этом “не могу” ты фиксируешь сознательное “могу” и, оттого, подпадаешь под действие направленное — то есть управление судьбы. Вопрос, который ты мне задал, надо задавать себе постоянно, и в это время, в момент задавания этого вопроса, ты не должен думать ни о чем другом. Тогда появится первое основание, начальная опора для воспоминания себя (RECOLLECTION — он произнес слово по-английски). И пока ты будешь это делать, никакая сила в мире не сможет превратить тебя в объективный, бессознательный факт, мой маленький лакей!”

Ника: А разве я — лакей?

Г.И.: Отучись спрашивать до того, как успел осознать всю ситуацию разговора, ибо твой вопрос есть пример реакции непонимания, а не попытки понимания. Ты же не спросил меня, что такое Арманьяк? Да? Но вернемся к тому, что я пью. Я сказал уже, что к этому не надо возвращаться, как к бессознательному факту. Однако, каждый бессознательный факт может иметь смысл. Тогда, скажем, факт, что я пью Арманьяк, а не Мартель или Полиньяк, может быть объяснен мною тебе в смысле сознания и, таким образом, сам превратится в факт сознания. Дальше. Подумай, ты — человек, но глупый, как бессознательная вещь, могущая, тем не менее, служить какой-то сознательной цели, ну, скажем, как ключ или лопата. Потом что-то происходит, и ты действительно начинаешь понимать, что ты — глупый, как ключ или лопата. Это — твой первый шаг от бессознательной объективности к сознательной субъективности. Шаг, имеющий своим последствием то, что даже оставаясь еще глупым, ты уже более не можешь служить “разумной цели другого”,

то есть не можешь быть употребляемым объектом. Это — начало прекращения механической жизни.

Джоанна: А следующий шаг будет переходом от сознательной субъективности к объективности сознания, не правда ли?

Г.И.: Не "будет", а может быть. То есть, это может случиться, а может и не случиться. Или, это может случиться тогда, а может и "отложиться" до... другого случая. С "объективным идиотом" же — ничего не может случиться, даже если тому случится быть талантом или гением. Им, все равно, будут отпирать двери или копать землю, а буде на то нужна, употребят его не по прямому назначению. Скажем, лопатой, будут взламывать замки, а ключом бить по носу маленьких детей.

Джоанна: А что такое — "другой случай"? Другая реинкарнация — да?

Г.И.: Забудь, Бога ради, о реинкарнации, о метампсихозе, о карме. Эти термины — подножный корм для объективных идиотов. Эти термины могут только начинать употреблять те люди, которые не только перешли от бессознательной объективности к сознательной субъективности, но уже пробуют, пытаются отринуть свою сознательную субъективность и "перескочить" в объективность сознания. Что же касается "другого случая", то он является другим во времени и месте, но для того же, что раньше было субъективным сознанием, не знаящим, что оно — объективное.

Фредерик: Тогда я позволю себе смиренно спросить учителя субъективных идиотов, а что значит "тогда"? Означает ли оно мое "сейчас" и "здесь"?

Г.И.: Да, но это — так, только если сейчас и здесь работает сознание, фиксирующее себя (а не "тебя"!) сейчас и здесь.

Фредерик: Но не могу ли я сделать из этого вывод, что без моего сознания сами "сейчас и здесь" — не существуют?

Г.И.: Никак не можешь, ибо, чтобы быть временем и местом твоего сознания, "сейчас и здесь" должны и без твоего сознания существовать как модификации безличностной объективности сознания. Нынешняя одержимость огромного числа людей "временем", "периодом", "историей", привела к тому, что Учители Сознания стали все более и более подчеркивать, усиливать вне-временную сторону сознания. А это, увы, привело к тому, что Учители Времени почти исчезли, и знание о времени стало величайшей редкостью.

Джоанна положила мягкую ладонь на Никин мокрый лоб, и спросила: "А что станет с этим маленьким хорошеньким моим?"

Ника: Мы едем в Испанию, и я буду учить испанский. Вернее — уже два дня учу. Но как я это понимаю, то, о чем здесь говорят, уже было мне сказано кем-то.

Г.И.: Ты видишь в этом повторение?

Ника: Нет. Скорее — какое-то "одно", хотя и в разных местах.

Фредерик: Сказано: т о — одно, места и тела — многие и разные. Что же остается?

Ника: Я очень устал и не могу отвечать.

Г.И.: Остается — время. Время такого именно мышления, как твое и, отчасти, Фредерика.

Джоанна: Но что же станет с нежнейшим мальчиком?¹³

13 *О языке беседующих.* Георгий Иванович говорил на своем обычном, слегка "колониальном" и "кавказированном" русском. Фредерик по-русски изъяснялся правильно, хотя чуть искусственно и с небольшим эстонским акцентом (он был родом из Вильянди). Джоанна по-русски

Г.И.: Что с ним станет? Он был почти подготовлен к э т о м у времени, когда пять дней назад Фредерик вытащил его из т о г о, как маслину из плотно набитой банки.

Джоанна: И его, наверное, будут любить хрупкие французские женщины, вместо русских, широких и крепких.

Фредерик: Боюсь, что им придется подождать немного.

Г.И.: Если они останутся в живых, когда можно будет уже не ждать. Объективные идиоты всех стран еще протестуют против грядущей войны, не замечая, что они сами ее уже давно начали. Война кретинов против кретинов с целью уничтожения как можно большего количества кретинов! — резко — Джоанне: — Перестань работать на Дьявола Несознания. Твоя претензия на жалость не скроет твоей боязни мышления. Что станет с мальчиком? — Он станет лицом к лицу с э т и м временем, а потом оставит его, когда этому наступит срок. Как, полагаю, и остальные беседующие. Нам придется остаться в живых, ибо мы этому времени не принадлежим.

Джоанна: Но я уже его обожаю! И если вы столь странно уверены, что он не пострадает от чего-нибудь страшного и смертельного, то я хочу, больше всего, чтобы он не страдал от отсутствия наслаждений.¹⁴

Все засмеялись. Кроме Ники, который не смеялся, даже рассказывая мне об этом через сорок лет.

прекрасно понимала, но отвечала по-французски (перевод — мой) Стиль и манера речи Георгия Ивановича сильно пострадали в моей (со слов Ники и Джоанны) передаче.

14. Это — единственная фраза, сказанная Джоанной по-русски.

Фредерик: Боюсь, что в Бильбао не будет недостатка в наслаждениях и страданиях.

Г.И. (Джоанне): Если ты это — о с в о е м наслаждении, то не переноси это на мальчика. Он сегодня для нас повод для метафизической рефлексии, а не для твоих неотрефлексированных эротических планов. Согласен, эротизм входит в метафизику, но здесь твое ч у в с т в о никому не интересно, пока оно не будет трансформировано в сознательный факт. Ты же, не хочешь этой трансформации оттого, что боишься смерти. И напрасно, ибо тебе, как и мальчику, я уже обещал, что вы оба — выживете, хотя наслаждения при этом я не гарантировал.

Фредерик: Страшновато, а? Как перед долгой и трудной хирургической операцией, когда знаешь, через что придется пройти притом, что знаешь, что пройдешь, все-таки. Но операция-то — под наркозом, а как проскочить через эпоху?

Г.И.: Нет, это — те, кто не проскочат, те умрут под наркозом массового страха, энтузиазма, или злобы. Нам же придется переносить все каждый раз заново, и абсолютно сознательно.

Джоанна: А цена — жизнь?

Г.И.: Цены — нет. Т а м это не так устроено. Мы не пощажены за наше сознание. Мы пощажены и, независимо от этого, — осознаем.

Фредерик (Джоанне): Ты же не хочешь любить под наркозом?

Джоанна: Хочу. В одной стране — не этой — говорят: любовь знает сама.

Г.И.: А ты не думай как в одной стране. Тогда каждая секунда эроса будет тобой осознана как каждая секунда войны.

Джоанна: А это — не медленная ли пытка, вместо мгновенной смерти?

- Фредерик: Выбирать нам не приходится, раз все дело уже решено, и именно таким образом.
- Джоанна: Любовь я так же хорошо знаю, как Георгий Иванович — войну.
- Г.И.: Да, в эротике есть свое знание, неизбежное для знающего. Но и в любви, и в войне выбор всегда — уже сделан, и тебе остается лишь знание выполнения, осуществления себя самого единственным твоим уникальным образом. Решение может быть и банальным, но в его выполнении каждый — исключителен.
- Джоанна: Тогда, может быть, лучше ничего не знать о любви вообще?
- Г.И.: Напротив, только зная эрос, ты знаешь, что делаешь сам. Любовь относится к сексу, как осознание — к знанию.
- Джоанна: Теперь я знаю: в этой компании некому пожаловаться, и никто не дает себя жалеть, даже мой маленький красавец.
- Г.И.: Твой учитель не знает усталости, но и он — уйдет. Тогда будет твоя очередь держать ответ перед неустанным тренером всех тренеров.¹⁵
- Джоанна: Но если плохая лошадка не хочет учиться, то даже Вечный Тренер устанет и начинает с другой.
- Г.И.: Ты всегда находишь нужную дверь, но не знаешь, как ее отворить. Великий Тренер выбирает себе тренеров лошадей, но не самих лошадей. Это — задача тренеров. Учитель обречен учить, даже если нет учеников. Тогда он будет учить стены. Если тренер устанет от своей бездарной лошадки — мир не исчезнет, но не будет больше... скачек.

15. Впервые я услышал это выражение зимой 1964-го г. от профессора Уку Масинга из Тарту.

Вместо разных скаковых лошадей, будет одно большое стадо безумных животных, с оставленной им свободой — одной для всех. Тогда они будут знать все сами, все, кроме НЕГО, ибо знания СЕБЯ ОН их лишит, покидая их. Но самое страшное в этом будет то, что сами они не узнают и того, что ОН их покинул. С Его уходом уйдут все Его "да" и "нет", "смотри" и "слушай".

- Фредерик: Я бы предпочел не знать об этом.
- Г.И.: "Не ведают, что творят" означает не ведают Его, ибо без знания о Нем их знание о себе будет продолжаться механически, как механически может длиться секс без любви или война без Судьбы. Только мгновенно вспыхивающее осознание себя, воспоминание себя выносит нас из механически продолжающегося прошлого нашего бытия. В этот момент наш Общий Отец нас ВИДИТ, а в другие... мы не можем знать.
- Фредерик: Даже оставленным, я бы хотел остаться в хорошей компании.
- Джоанна: О нет, нет! Это прошло и не возвращается. Этого нельзя рассчитать — как в эротике; ты знаешь как, и думаешь, что так же получится опять, но и это имеет свой закон.
- Г.И.: ...Который действует в обе стороны, ибо любовь хочет не удовлетворения, а движения, Смотри, средний человек хочет всегда выразить себя, вынести что-то из себя и... удовлетвориться, расслабиться, так сказать. А когда не получается, то русский человек говорит "авось потом выйдет", француз — "c'est la vie", а англичанин — "take it easy". А ты не можешь "тейк ит изи", и не потому, что слишком уж тяжело, а просто потому, что там — ничего нет.

- Ника: Простите, пожалуйста, но мне кажется, что я схожу с ума.
- Фредерик: Здесь это — твое личное дело. Начинай приучаться.
- Джоанна: Но много ли осознание любви может добавить к любви?
- Г.И.: Сама любовь тоже — осознание. Но до этого надо еще добродить.
- Ника: А почему я должен знать о сексе, как о чем-то отличном от любви?
- Фредерик: Видите — он совсем еще не устал и не сошел с ума, да, Ника? Но дай подумать: д о л ж е н л и ты, в самом деле, знать о сексе? Конечно, не должен, но, боюсь, что придется. Я чувствую, что ты — хотя и в твоей особенной манере — думаешь о смерти. Но осознание смерти очень близко к осознанию секса. И то, и другое — на нормальном эмпирическом уровне — не может быть отрефлексировано в самом а к т е, будь то акт смерти, или половой акт. Секс, в этом смысле, аналог смерти, и оттого его необходимо з н а т ь.
- Г.И.: У англичан есть очень для них типичное выражение: невозможно есть пудинг и одновременно и м е т ь его. Я же полагаю, что это не только возможно, но и — совершенно необходимо. З н а ю щ и й может (если захочет) наслаждаться любовью и в то же время осознавать ее как определенное состояние сознания. Н е з н а ю щ и й — не может. Он будет есть свой пудинг и плакать, что он его не имеет. Секс подготавливает знающего к смерти.

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ: 24-го АПРЕЛЯ 1945-го г. ПОСЛЕДНЯЯ ВСТРЕЧА

Если ничего не происходит, то встреча или разговор — не в счет. Это и имел в виду Геня, называя эту встречу с Робертом — последней. Не может быть никакого сомнения в том, что она произошла на площади Дзержинского, справа, когда выходишь из метро, как раз у дверей той маленькой поликлиники, где много позднее человек из другого мира, Додик Ланге, лечил и выдирает зубы у полковника Петренко, у меня и, конечно, у самого Гени.

Роберт стоял очень высокий, в новой шинели, гвардейской фуражке, и лейтенантских погонах.

Роберт: Война фактически закончилась. Проклятье, Генечка, стоило ли убивать три года на это проклятое училище повышенного типа, чтобы потом демобилизоваться, не считаясь даже фронтовиком! Или — еще хуже — остаться на годы в каком-нибудь гарнизоне. Сейчас — все зависит от сегодняшнего вечера. Я приглашен пить с полковником Петренко в штабном вагоне (это устроил майор Кораблев — у него огромные связи в дивизии и выше). Я не могу остаться в резерве. Ты подумай, один день боя и — все сделано. Лучшие рекомендации, академия, потом — академия Генштаба... Ну, а потом, — посмотрим. Я уговорю Петренко! Кораблев вчера сказал: "Я бы вам рекомендовал оставаться в живых, молодой человек". А что бы отец сказал — ты лучше меня знаешь. Поэтому прошлую ночь я провел у Ардатовских.

Геня: Мое дело — пересказывать, а не возражать. Три часа назад я забежал к ним выпить чаю. Лидия Акимовна сказала: "Роберт сюда не вернется".

Роберт: Значит, я буду убит?

- Геня: Э т о г о она не говорила. Я думаю, что Ника (нынешний) прокомментировал бы ее высказывание так: "Сюда не вернется, значит — к с е б е не вернется".
- Роберт: Но надо уходить, уходить! Я уже никогда не смогу жить в этой проклятой комнатенке с отцом, мамой и Эдиком. Когда я последний раз там был, я не мог — я спал на кухне.
- Геня: Прости меня, но это не имеет никакого отношения к делу.
- Роберт: К какому делу?
- Геня: К тебе самому.
- Роберт: Осталось не больше десяти минут. Знаешь ты, что (смотрит на часы) такое т о ч к а в о с п р и я т и я ? Нам ведь только кажется, что мы живем в с е й жизнью, но я знаю, это — не так. Для каждого из нас существует несколько — не много, не больше трех-четырех — точек, в которых мы действительно воспринимаем жизнь. Все остальное — фон, шум, атмосфера. В этих точках мы страдаем и наслаждаемся, в них мы — активны. В них нам предписывается д е й с т в о в а т ь и в ы п о л н я т ь.
- Геня: Но ведь можно еще и н а б л ю д а т ь, что происходит в этих точках с тобой и другими. То есть — с о з е р ц а т ь.
- Роберт: Да, в принципе можно. Но сейчас другой сезон. Если я сейчас этого не сделаю, то не сделаю этого никогда.
- Геня: То, что сейчас с тобой происходит, называется "регрессия". Негативно, регрессия, это — отсутствие созерцания, а позитивно, это — п р и м е н е н и е к жизни тех умственных способностей и состояний сознания, реальное назначение которых в применении к созерцанию, а не к жизни.
- Роберт: Постой! Но я же все это давно знаю. Эти умствен-

ные способности должны оставаться п о т е н ц и я м и созерцания. Приложение к жизни их уничтожает. Жить надо по д р у г и м законам, сохраняя эти потенции в себе, и не превращая их в н и з к о е т в о р ч е с т в о. Но я — не низок и не высок. Я хочу реализовать и то, и другое.

Геня: Это невозможно.

Роберт: Почему? Не понимаю.

Геня: Да ведь ты сам сказал — “другой сезон”. Именно другой, н е т в о й. А когда сезон — не твой, то следует не действовать, а “не-действовать”. А если ты не можешь избежать дурного действия — а оно неизбежно будет дурным, ибо в н е - т в о й сезон и действие будет ч у ж о е — то беги прочь со всех ног! Но как? Вот в чем штука! Ведь оттого и Ника “испарился”. Наше Обыденское детство было не только местом, “полем”, так сказать, но и особым временем. Жуткое почти для всех, для нас это время явилось н а ш и м сезоном, благодаря исключительной конфигурации событий, личностей и домов. Но сезон кончился. Теперь — жди следующего.

Роберт: О, я знаю, знаю! Жди и бодрствуй, когда все спят. Спи, когда все бодрствует. Пребывай бездеятельным в действии, и деятельным в созерцании. Но я — не в Мадриде, как Ника.

Геня: Не думаю, чтобы Ника сейчас был в Мадриде.

Десять минут кончились.

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ: У ГЕНИ

17-го января 1946-го года я пришел в гости к Гене, который тогда временно проживал в каморке одной своей времен-

но отсутствующей тетки. Каморка находилась под крышей приарбатского ампириного особняка одного из ранних славянофилов. Деревянные колонны вместе с дверью Гениной каморки пошли на топку в военные годы, и теперь дверью служил огромный лист фанеры.

Это была первая наша встреча за шесть лет. Геня сидел на высокой кровати с изодранным пологом и пригласил меня сделать то же. Я отказался и уселся на полу, подложив старый ватник и опершись спиной о противоположную стену. Оба мы оставались в пальто и шапках, но все равно было очень холодно.

“Холодно, а зато клопы все уползли внутрь куда-то, — сказал Геня, — но сейчас натопим буржуйку, заварим чай, и поджарим хлеб”. Через полчаса каморка была натоплена до жары почти тропической, а божественный аромат жареного черного хлеба заполнил всю мансарду.

“Если не хочешь говорить, то и не надо, — сказал Геня, — Согласно моим прежним наблюдениям ты очень часто стараешься завести разговор на тему тебя лишь абстрактно интересующую. И это, как правило, у тебя не получается. Однако стоит тебе начать говорить о чем-то милом и бессмысленном, как становится интересно, да?” — “Милый Геня, — отвечал я, — я не нахожу слов, приличествующих торжественности этого часа и, одновременно, приличных, чтобы выразить мою радость оттого, что я тебя вижу, и мое отчаяние от постигших меня неудач. Поэтому — ни о том, ни о другом, речи сейчас не будет. Но скажи мне, что ты сейчас делаешь, и о чем думаешь?” — “Ну, так, — сказал Геня, — меня, в общем, кое-как устроили помогать составлять книги в одной библиотеке. Делом этого не назовешь. Думаю же я о том, что скоро думать мне станет гораздо легче и свободнее. Объективно, я имею в виду. Но в то же время и гораздо труднее, ибо появится огромное количество вещей, угрожающих самому думанью, а не физическому существованию думающего, как в тридцатые и во время войны. В настоящий же момент нашему думанью непосредственно угрожает приход человека с нелепейшим именем Гаральд Ранцев.

Но еще до прихода Ранцева (с которым я когда-то учился в начальной школе), у меня начала жутко болеть голова — что-то было не в порядке с печуркой. Ранцев пришел, отказался сидеть на полу (“на полу не сидят — по полу ходят”), так же как и на кровати (“это — крайне негигиенично и, откровенно говоря, омерзительно”), стал спиной к окошечку и заговорил. До меня через угарную боль долетали странные фразы, которые, почему-то, навсегда остались в памяти — возможно, по контрасту со словами Гени. “Татьяна Бах была пьяница (кто такая Татьяна Бах не знаю по сю пору), Станиславскому не давали ставить, как он хотел; Кольцов погиб по странному недоразумению; Светлов — трус. Писал военные стихи, а сам боялся воевать, Заболоцкий писал стихи, которых никто не понимает; достаточно будет Кагановичу сказать все Молотову, и с антисемитизмом будет покончено раз и навсегда — мне так дядя Вуля сказал, если бы вы оба только знали, как нам с матерью трудно жить! Мы не в состоянии позволить себе чистое нательное белье раз в неделю, Павел Коган — вот настоящий поэт-патриот...”

Когда я очнулся, Геня растирал мне лоб и щеки нашатырным спиртом: “Тетка говорит, что это очень полезно”. — “Что — угар? — “Нет, нашатырный спирт”.

“Начнем с того, чем кончили, — сказал я, растянувшись на полу. — Итак, Молотов пожалуется Кагановичу на евреев. Тьфу! Каганович пожалуется на антисемитов, и тогда Татьяна Бах бросит пить, Станиславский будет ставить, как хочет, а Светлов... черт, не будут же новую войну устраивать, чтобы проверить храбрость Светлова, когда эта едва кончилась. Кстати, Геня, я начинаю серьезно бояться, что меня убьют в первом же еврейском погроме, если он случится в Москве, конечно. В самом деле, что ты об этом думаешь?” Геня долго смеялся. “Ну?”

— “Я в понедельник задал примерно такой же вопрос Тимофею Алексеевичу. Он подумал и сказал что, разумеется, еврейский погром устроить можно, но что это едва ли произойдет. По его мнению, любой погром, если это именно погром, а не организованное уничтожение, или массовое выселение, тре-

бует хотя бы минимального соответствия "чувств кретинов с их внешним поведением", — он именно так и выразился. Но сама возможность такого соответствия уже давно уничтожена "духом времени и места". Погром же явится прямой угрозой этому духу. И вообще — это уже я говорю, а не дедушка, хотя и он говорил тебе об этом когда-то, — твоей смерти в скором времени не ожидается. Так что не отвлекай себя, пожалуйста, этими несбыточными грезами!

Я: Но ты всерьез думаешь, что скоро думать станет легче и тяжелее?

Геня: Да. Но это я говорил о с е б е. Мне кажется, что всякое думанье (а не только мое) обладает двумя совершенно независимыми способностями или энергиями — энергией изменения и энергией инерции и что характер думанья зависит от их соотношения. Обычно, они неравносильны; одно из них сильнее другого, и пока это состояние продолжается, можно говорить о д а н н о й "фазе" думанья. Когда начинает преобладать другое из них, наступает другая фаза. Когда кто-нибудь говорит: "Так долго продолжаться не может", то я это понимаю — вне зависимости от того, о чем идет речь, или от интенции говорящего — как ощущение им близящейся смены фаз его мышления. То есть, эта фраза читается так: "мое думанье об этом, такое, как оно есть сейчас, долго продолжаться не может". Время и место остаются т е м и ж е, только пока продолжается данная фаза — в отношении данного индивида, конечно. Но послушай, каким-то очень странным и непонятным для меня образом эти фазы могут совпадать у огромного количества людей.

Я: Значит, фаза определяет дух времени, если она становится "коллективно преобладающей", так сказать?

- Геня: Нет, не думаю. Связь между ними — не причинная а скорее, с в я з ь п о у с л о в и ю. Фаза не порождает дух времени, но когда она кончается, то современному ей "духу" едва ли возможно долго ее пережить. Недавно дедушка рассказал мне о 14 веке и инквизиции, торжество которой он объяснил на два века затянувшейся коллективной фазой преобладания инертной энергии. Но здесь, он сказал, эта фаза близится к концу. Из-за войны, кажется. И еще, что обычно в гениях преобладает инертная фаза, ибо гений д о л ж е н думать в о д н о м направлении. И еще он сказал о своем страхе, что из Ники — если бы тот не "исчез" — получился бы выдающийся физик-теоретик.
- Я: А что значит — "думать будет труднее"?
- Геня: Это нелегко объяснить. Ну, если очень упростить, то это значит, что м о ж н о б у д е т и ж и т ь , а н е т о л ь к о д у м а т ь . То есть жить о т д е л ь н о от думанья и созерцания. И мне придется с и л о й отворачиваться от жизни, чтобы сохранить способность к с о з е р ц а т е л ь н о м у н а б л ю д е н и ю этой же жизни.
- Я: А долго ли еще придется ждать, пока можно будет и ж и т ь ? Я, например, без этого просто не могу думать.
- Геня: А кто тебе сказал, что ты вообще можешь думать? К тебе это придет гораздо позже. Ты, в отличие от Роберта, Ники и меня, ребенок с крайне задержанным развитием. И ты бросишь нас (и себя) очень скоро. Но мы подождем.
- Я: Но ты не ответил на мой вопрос.
- Геня: Ждать, пока можно будет "жить" — недолго. Лет пять-шесть, дедушка говорит. Но ты, как в давние годы припевал Анатолий, "смотри, смотри, посматривай!"

- Я: Милый Геня, ты меня уже почти раздавил своим наблюдательным созерцанием".¹⁶ То есть, ты меня успокоил и обеспокоил до крайности в одно и то же время.
- Геня: Твои субъективные состояния, такие, как "покой" или "беспокойство", не должны иметь никакого значения для твоего думанья, если ты действительно хочешь — даже если еще и не можешь — думать. То, что ты сейчас "успокоен" или "обеспокоен" так же несущественно для мыслительной работы, как твое чувство голода или холода, хотя все эти чувства могут быть осознаны как условия думанья.
- Я: Согласен. Но будет ли мне позволено чувствовать, по крайней мере, что эта наша встреча — приятна, и что такими же обещают быть и другие наши встречи?
- Геня: И да, и нет. Да — пока мы находимся в этом данном состоянии сознания. И если оно случилось в обстановке приятности, то пусть эта обстановка будет сохраняться и продолжаться. Нет — если в другом состоянии сознания, в другой фазе думанья или в ином сезоне та же обстановка окажется тяжкой помехой думанью. И тогда твое думанье скажет самому приятному в твоей жизни: НЕТ. Ибо это "прежнее приятное" уже оставлено реальным думаньем. Сознание не возвращается в место, хоть раз им оставленное. Тимофей Алексеевич говорит, что "се оставляется вам — дом ваш пуст", это — о Духе, который оставит прошлое, будь то храм, город, страна или мир. Сейчас мы с

16 Думал ли я тогда, что через двадцать лет после этой беседы мой очередной учитель мышления, Эдик (иначе — Давид Зильберман) введет этот термин в наш метафизический обиход?

тобой приятно сидим на чердаке. Придет время — будем приятно сидеть в хорошей комнате за накрытым столом, с умилением вспоминая о чердаке. Но, стоп! И накрытый стол кончится, когда наше сознание уйдет от него. То есть, мне кажется, что думанье может возвращаться к себе прежнему, но не к прежним своим условиям, приятны ли они или тяжелы.

Уже совсем поздно по твердому скрипучему снегу я ушел от него к себе, на Собачью Площадку, где тогда временно жил.

ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ: ДВА РАЗГОВОРА В КУРИЛКЕ ЛЕНИНСКОЙ БИБЛИОТЕКИ

Сказать, что я потерял Нику из виду было бы грубой неточностью ибо, как об этом уже упоминалось, мне так и не пришлось его увидеть в моем и его детстве. Но я знал и помнил его, хотя что-то глухо закрылось над его именем и обстоятельствами, когда наша семья переехала на другой конец Москвы. Потом — война, эвакуация и возвращение. Возвращение не только в Москву, но почти в прежнюю мою эйкумену, то есть, совсем поблизости — на Арбат. Это случилось в конце 1944-го года. С Геней, как уже говорилось, я встретился в 1946-ом. Он тогда рассказал мне о гибели Роберта, и о жизни Ники в Испании и Бельгии. Кроме того, он сообщил мне, что Ардатовские, — или большая их часть, — не были в эвакуации и как жили, так и живут на Обыденском, и предложил мне их навестить. Но я отказался, не помню почему. Возможно оттого, что новые мои друзья, музыка, и борьба с отвращением к сдаче экзаменов заполняли всю мою жизнь.

Следующая встреча произошла в начале 1949-го года на антресолях Старого Здания Ленинской Библиотеки, в знаменитой "курилке". Он немедленно сообщил мне, что любая фило-

софия, по содержанию связанная с реальной жизнью, им категорически отвергается, как ненастоящая. Я, конечно, этого понять не мог, ибо тогда я все еще исходил из наивной немецко-русской предпосылки, что все может (или должно) быть понято. Геня объяснил мне свой подход к философии примерно так.

Истина — если у тебя ее нет — всегда исходит от другого, чужого. А если она у тебя есть, то ты сам себе чужой. Любая "своя" истина — личная, семейная, профессиональная, национальная, классовая, и т.д. — всегда жульничество, совершаемое в личных или общих интересах. Я слушал с большим удовольствием, ибо видел в этом способ хоть на время забыть о моих собственных весьма крупных неприятностях, обещавших стать еще крупнее в ближайшем же будущем. И тут Геня внезапно, по ассоциации, вспомнил, как в 1937-ом они с Никой ходили на лекцию под названием "Советская молодежь в борьбе с кулаками и вредителями". В лекции говорилось, между прочим, как один "верующий кулак с обрезом" два года скрывался от НКВД, и как комсомолец, заведующий избой-читальней, выследил его на свой страх и риск и застрелил из берданки. Закрывая этот эпизод, лектор сказал о кулаке: "И не помог ему его ангел-хранитель". Вернувшись с лекции, Ника спросил дедушку, во всех ли случаях жизни помогает Ангел Хранитель. Тимофей Алексеевич довольно долго думал, а потом объяснил, что Ангел-Хранитель помогает только твоей душе, а если и телу, то только ради души: "Он тебе — не свой, не брат. Он свой твоей душе, а тебе самому — чужой. Сатана, так — куда больше свой!" В ту ночь они вместе с Геней ночевали на полу в передней. Ника долго не мог заснуть, а потом радостно сообщил Гене, что теперь, наконец, все, кажется, понял: "Ну да, Ангел-Хранитель — это твой "чужой". У каждого есть такой чужой. Я думаю, что он живет в "пятом измерении" (очевидно, "четвертое измерение" Ника оставил про запас, для случаев вроде дома Архитектора Мельникова в Кривоарбатском Переулке, а в "пятом" предвосхитил шутку Булгакова, либо оказался конгениален последнему). И тот, кто своим усилием в это пятое измере-

ние проникнет, тому — нечего бояться, ибо его Ангел — с ним. И если кто туда прорвется хоть на секунду, то даже если это будет под дулом пистолета или берданки, он останется невредим. “И я думаю, — закончил свое объяснение Геня, — что истина — тоже в пятом. Моя философия есть развитие Никиной”.

— “Вы, ребята, чудовищно не знаете литературы, — неожиданно вмешался в разговор Андрей Дмитриев, один из умнейших людей не только в Ленинской Курилке (что и само по себе, — немало), но и во всей тогдашней Москве. — Ангел Хранитель — это форма сознания, да и истина — тоже”.

Он потащил нас с Геней на галерею и там заявил, что Россия вступает в совершенно новую полосу своего существования не только материального, но и духовного. И еще, что появляются совсем новые люди, вырастает новый тип “прагматической личности”, пронизательный, холодный и неумолимый, и что таким, как мы останется либо незаметно раствориться, либо превратиться в говно. На что Геня тут же возразил, что пусть он лучше будет говном, но растворяться категорически не желает. Но Андрей, за которым почти всегда оставалось последнее слово — сказал, что духовные условия жизни будут таковы, что выбора не будет, и что **з а н а с р е ш а т**, кому во что превратиться. И даже не люди решат, а сами эти условия.

Когда Андрей отошел, привлеченный ведшейся по соседству беседой о течениях во фрейдизме, Геня снова вернулся к рассказу о Нике. “Двор — это первоначальная ячейка московского общества 20-х, 30-х и, даже, 40-х годов. До двадцатых годов дворов, в таком именно социальном качестве, не было и скоро их снова не будет. Были дворы художников, дворы графоманов, дворы насильников и хулиганов. Были, конечно, и такие то есть безличные дворы, — но о таких я не говорю. Твой двор был — философский, что, конечно, никак не означало, что ваши ребята были — или потом стали — философами. Но у некоторых из них (из нас?) была **о д а р е н н о с т ь** отвлеченная от своей (и чужой) жизни, впрочем, часто свойственная детям вообще. Потом эта одаренность обычно уменьшается, оставаясь только у **п р и р о ж д е н н ы х** философов, то есть у

тех, кто, даже проклиная эту свою способность, все равно ничего не могут с ней поделать. Однажды Ника сказал дедушке (я, конечно, тоже присутствовал), что он заметил на улице дьякона. Ты только вообрази, не "увидел", а "заметил"! Да откуда он взял, что это был именно дьякон?" Но тут внезапно опять возникший Андрей "перехватил мяч" и сообщил нам, что в истории есть периоды, когда религия, "чтобы сохраниться в условиях абсолютного господства атеистического режима, должна преобразоваться в философию". На это Геня решительно возразил, что это мы сами — а не религия — вынуждены философствовать, чтобы сохраниться в этих условиях, хотя бы внутренне. Он еще рассказал, как Владыка,¹⁷ часто ночевавший у Ардатовский, услышав о "замеченном дьяконе", смеялся чуть не до слез и вспомнил о своем давнишнем (он был тогда студентом-медиком) разговоре с отцом Павлом. Он спросил отца Павла, существует ли, по его мнению, острое религиозное мышление? Отец Павел ответил, что "всякое мышление, даже из религии не исходящее и мыслящее о чем угодно, при известной последовательности ходов становится религиозным, доходит до религии. Но что это еще не означает Благодати. "Так вот, — заключил Владыка в похвалу Нике, — ты хорошо сделал, что заметил дьякона. Постарайся сохранить способность замечать дьяконов, ибо, боюсь, что очень скоро она станет такой же редкостью, как сами дьяконы. Но не останавливайся на этом, мысли дальше, и тогда, мысля, ты сможешь дойти до Силы, которая сама — не отменная, и перед которой наша простая Судьба — бессильна. Но это — далекая возможность храбреца и счастливца, а пока — мысли. Нет ничего страшнее, чем мыслить сейчас".

"Ну, а что же Ника?" — допытывался я. Геня сказал, что Ника очень обрадовался словам Владыки и, даже попытался дать ему понять, что он, Ника, кажется понял, наконец, что

17. Владыка тогда скрывался по знакомым, опасаясь четвертого ареста и неминуемого расстрела. Я учился в университете вместе с его сыном, который, впоследствии, стал выдающимся специалистом по научному атеизму.

страх смерти (или — Судьбы, если она грозит смертью) страшнее всего, но что еще страшнее — точное мышление в момент, когда испытываешь страх смерти.

“В известном смысле я полагаю, — комментировал Геня им же самим пересказанный разговор, — “тот вечер с Владыкой явился для нас уроком Феноменологии Страха хотя, по видимому, присутствующие там лица были страху чужды, или почти чужды... собственно говоря, только так и возможна феноменология чего бы то ни было!”

Еще он рассказал о вещах, мне до того времени совершенно неизвестных: что отец Ники тоже ждал ареста, и Ника об этом знал: что Анатолий в это же время, и там же, у Ардатовских, обдумывал план самоубийства, который и привел в исполнение, частично, через несколько дней после посещения Владыки (Его едва удалось откачать, и в течение четырех лет после этого он очень тяжело болел, и оттого, вероятно, не попал на фронт и не был убит) ; что дедушка стал очень худым и слабым и что сам Ника заболел (к великому удивлению врачей — во второй раз!) скарлатиной и долго не поправлялся.¹⁸

ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ: ИНТЕРЛЮДИЯ — НОЯБРЬ 1974-го ГОДА

“На самом деле, это исключительно важно — к т о приехал к к о м у”, — говорил Ника, пока мы шли по огромному подземному переходу Бирмингамского Вокзала. — “Я и сам не знаю, что бы мог тебе сказать, если бы приехал в Москву. Спра-

18. Несмотря на некоторую неопределенность Гениной датировки этого эпизода и последующих событий (1937 г.), мы можем утверждать с почти полной определенностью, что он имел место заведомо после “Главного Дня в Никиной жизни” (здесь — глава третья) и до “Конференции с дедушкой Тимофеем” (здесь — глава пятая). Хотя остается некоторая неясность в отношении ссылки на разговор о дьяконе в начале главы шестой.

шивал бы, наверное, обо всем, что забыл. Но ведь я ничего не забыл! А вот когда ты ко мне приехал сюда, то я могу спросить про то, чего никогда не знал — я ведь, и тебя то, собственно, не знал”.

Потом мы долго сидели в привокзальном баре, и Ника рассказал мне, как в конце своего студенчества в Бельгии, в конце 1940-х, стал собирать “Коллекцию сведений” о людях из Москвы, которые жили в н е в р е м е н и, и оттого время в них о с т а в а л о с ь. Оседало на “гранях” их сознания, так сказать: “Они были слишком молоды, чтобы быть убитыми в тридцатые, и чуть моложе призывного возраста 41-го — 42-го. То есть, в этом смысле, время было милостиво к ним. Геня писал мне об этих людях почти регулярно и самым “левым” на свете образом. Он сам к ним принадлежал. Да и Роберт, я бы сказал, тоже стал бы таким, если бы не одно его роковое качество. Он — природный отличник, оттого-то он и рванулся на войну, — к смерти, а когда ожил, то рванулся в другую сторону и... совсем пропал во времени”.

Тогда-то Ника и спросил меня об Андрее, которого, разумеется, никогда в глаза не видал, но о котором многое узнал из Гениных писем. (И оттуда же — обо мне и моих разговорах с Андреем.) Я же, по совершенно мне непонятной причине, когда всех других дел было по горло — и едва как четыре месяца после моего отъезда из Москвы — стал по памяти записывать мои и Генины разговоры с Андреем. И так, сидя в Сомертоне (Оксфордшир), я написал страниц двадцать. Оттого все, что я тогда рассказывал Нике об Андрее, оказалось как бы пересказом этих страниц. И, как всякий пересказ самого себя, было неинтересно. Ника сказал: “Андрей, если я его правильно понимаю, все время пытался предсказывать будущее, но будущее все время оказывалось тем странно усовершенствованным прошлым, которое его, Андрея, хватало за горло и душило”. “Не совсем так, — возразил я, — не надо преувеличивать его манию преследования. Конечно, он жутко боялся допросов и лагерей, но навряд ли больше, чем я или кто другой. Этим я просто хочу сказать, что, даже если бы он и не боялся, то думал бы, в

основном, таким же образом. Значит, и мании-то у него, настоящей, не было". "Однако, — продолжал недоумевать Ника, — почему же тогда все, о чем он говорил, было направлено к т е м е г и б е л и?"

На этом наш с Никой диалог — или, по крайней мере, моя экспозиция этого диалога — обрывается, ибо я решил сам переизложить то, что уже, хотя и по-другому, излагал раньше.

Г и б е л ь в словах и мыслях разных людей имеет совершенно разный смысл. Отождествлять свою собственную гибель с гибелью цивилизации, общества или поколения, это уже мания величия, а не преследования. А манией величия Андрей никогда не страдал. Напротив, он был человек исключительно скромный и себя, скорее, недооценивающий. Я думаю, что ключ к пониманию ситуации Андрея, да и моей собственной тоже, надо искать в другом. И этим другим были разговоры н а д р у г у ю т е м у — разговоры о разных вещах в о б щ е, но всегда с н е в ы с к а з а н н ы м в о з в р а щ е н и е м к т о м у, что происходит сейчас и здесь с говорящим и тем, или теми, кто его слушает.

Я не всегда был в состоянии уловить не только о чем шла речь в этих разговорах, но и о том, с кем и что происходило. Вместе с тем, я ясно видел, что никто не собирался ничего скрывать. Просто, налицо было желание возбудить в собеседнике, а порою и в самом себе, подозрение, что э т о может случиться именно с ним (со мной, с тобой!), если уже не случилось.

Сначала Ника, будучи человеком "почти западным" — ведь он покинул Москву за тридцать шесть лет до этой нашей встречи — не верил в с е м у э т о м у. Он говорил, что все это — пустые намеки. Но потом он признал, что начинает видеть здесь "известный смысл", хотя и "не очень ясный". Я же, когда наконец решился на такой разговор, решился и на то, чтобы признаться, что дело здесь не в объективности или ясности смысла, а в его б е з у с л о в н о й о т р и ц а т е л ь н о с т и: личный страх, мой милый друг — вот о чем здесь идет речь!

То, что преследовало Андрея всю его небогатую внешни-

ми событиями жизнь и чего никогда не было в феноменально причудливой жизни Додика (Давида Ланге), в самом Нике оставалось на "кромке сознания" ("осадком выпада в рефлексию" — сказал бы Мераб Мамардашвили). Мы оба с ним — люди судьбы. Оттого я и решился на разговор о страхе.

ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ: ПАРАЛИЧ СТРАХА

"Паралич страха, это — когда все причины и предпосылки страха остаются, но страх, как реальное чувство, перестает существовать. Этому тоже есть свои причины".¹⁹

Начал, как обычно, я: "Сохраняемое ощущение предвещенного времени годы висело передо мной, словно в воздухе..." — "Оно было той рамкой, — сказал Ника, — без которой ни одна картина нашего детства просто не могла бы существовать. Вынь ее из рамки — не останется ничего, кроме чистого, бессодержательного с т р а д а н и я." "Согласен, — сказал я, — но пустые рамки, это то, что мы вешаем на стены своей памяти. Когда я в ноябре 1944-го вернулся из эвакуации в Москву, то нашел одни рамки, хотя долго притворялся, что вижу в них картинки. Так можно прожить почти всю жизнь. Роберт стал гением такой жизни еще задолго до того, как картинки исчезли из рамок. Ему не было и четырнадцати лет, когда он начал любоваться пустыми рамками и учить меня, как это делать. Он всегда повторял: "Подумай как ты будешь вспоминать об этом мгновении жизни через пятнадцать лет, когда от него уже ни пепла, ни дыма не останется!" Он, в конечном счете, был человеком эстетики, наш Роберт. А другие рванулись в будущее без

19. Это определение было дано Андреем во время его спора с полковником Петренко об обстоятельствах, связанных с концом войны.

прошлого, туда, где не будет места осознанному (а значит — нечистому) страданию.²⁰ Страна понаделала из них импотентных карьеристов и безработных профессиональных распутников”.

Такова была преамбула. Но — продолжаю об Андрее. В отличие от мальчиков с нашего двара, у него не было паралича страха. Он постоянно боялся. Выражаясь несколько буддистически,²¹ я бы сказал, что его страх имел вполне реальное основание и сам являлся причиной его, Андрея, собственной konceпции понимания. Он говорил: “Чтобы выжить, а потом — свидетельствовать, надо до такой степени жить в эпоху и людей, чтобы различие между ними и тобою стало бы почти неощутимым. Необходимо не только понять объективные резоны, заставляющие палача пытаться свою жертву, но и его субъективные состояния, позволяющие ему это делать. А работает палач не на себя, а на эпоху, на того нового человека, который уже приходит”. Мне было тяжело и страшно все это слушать, но, в то же время — жутко интересно! Сейчас я думаю, что и мой “интерес” к этому был симптомом “паралича страха”. Вместе с тем — и сейчас, когда я думаю об этом, как и тогда, в Курилке, — в сознании присутствует мысль об объективности времени. Мысль смутная и нечистая, но иногда, хотя бы, позволяющая “психически отдохнуть”, так сказать: есть о чем порассуждать, не перенося на себя.

Процесс чего-либо всегда интересовал Андрея больше, чем причина и следствие. Так, он однажды (году в 1957-ом) мне сказал: “Ты знаешь, отчего французские экзистенциалисты, все почти, такие плохие философы? Оттого, что они слишком ясно видят невыносимость существования (причина) и неизбежность выбора (следствие). Мысль, что их са-

20. Осознанное страдание — нечисто, потому что оно (в этом контексте) осознано эмпирически, а эмпирическое сознание нечисто по определению.

21. То есть таким образом, каким мог бы выразиться человек, думающий, что он знает Буддизм.

мих кто-нибудь убьет, еще до того, как они успеют об этом подумать, ими не анализируется. В этом есть какое-то "философское якобинство", соединенное с удивительной поверхностностью. В ы б о р у них полностью оторван от судьбы, а мышление о прошлом — от их настоящего. Русский философ, если взять его, как "тип мышления", прямо противоположен экзистенциалисту п о т и п у с в о е й о ш и б к и. Русский философ непрерывно анализирует прошлое, но делает это с таким чувством, как будто он (и его друзья) натворил в этом прошлом что-то ужасное, и ожидает за это не менее ужасной кары в настоящем или ближайшем будущем. А если этот обобщенный русский философ еще и "религиозный", то сама эта кара мыслится им не иначе, как коллективная ("Ох, уж н а м за это достанется?" или "Плохо нам с т о б о й придется!"). Божий промысел мыслится им в терминах "массового производства". Может быть, именно за такое "соборное" мышление нас и ебут в массовом порядке, а? Но хуже всего, когда русский философ пытается перейти от прошлого к будущему, то есть, пытается разобраться в "субъективной каше" настоящего. Тут он сразу становится прагматиком и социальным активистом. Ты ему: "Да разберись хоть немного, что к чему". А он тебе, вдруг: "Сейчас действовать надо, а не думать". "Да ты же — философ! — начинаешь ты его уговаривать, — Кто ж д у м а т ь то будет?" Ну, а он тогда с полной уверенностью: " О н и будут, а мы — у н и х учиться!" Возьми "веховцев" — какие чудные, талантливые были люди, а в коллективное совершенствование тоже, все-таки, верили. Отчего? Да оттого, что Россию они видели всегда как бы в двух коллективных манифестациях: снизу — темная народная стихия; сверху — испорченное, большое "общество". Но это же методологический абсурд!" "А что, — спросил я Андрея, — если этот абсурд и был реальностью?" — "Да он и с т а л реальностью! — почти закричал Андрей, — Потому что н и к т о не думал, как он э т о м думает. Сам я боюсь будущего, но я з н а ю, что мой страх не есть мышление, а есть (не как следствие, а сам по себе е с т ь) отсутствие мышления о том, что происходит в настоящем, и, прежде всего — во мне самом как я с е й ч а с есть".

Андрей считал, что каждая мысль является, своего рода, живым существом, целой жизнью. Но попробуй д у м а т ь о мысли и ты сам увидишь, как она разделится на ячейки, каждая из которых — мертва, а весь процесс есть смерть (не ведет к смерти, а сам есть смерть!). Много позже, уже в 60-х, Геня спросил Андрея, за что он не любит Шестова. Тот ответил: "Да ты неужели сам не понимаешь? Ведь Шестов не уставал повторять, по Плотину и Платону, что философия есть мышление о смерти. Повторял, потому что не мог увидеть, что всякое р е а л ь н о е думанье у же есть смерть. Только надо об этом д о г а д а т ь с я, а он не мог. Вот Гегель — догадывался, и уже с 10-х годов 19-го века стал умирать, но мужества не хватило умереть сразу (Мераб Мамардашвили говорил в одной из своих ранних лекций, что написав Феноменологию Духа, Гегель фактически стал мертвым). Оттого Шестов и Кьеркегора так полюбил, что тот — н е п о б о я л с я".

"Я вот, недавно, Дьюи читал", — говорил Андрей, — "достал русский перевод его "Свободы", для служебного пользования. Так ведь ничего же не понял, дурак! Он думает, что есть "Демократическая Система", которая возникает, развивается и укрепляется (он, идиот, считал московские процессы 30-х годов "недемократическими", видите ли!). Ему-то невдомек было, что "демократическая" ли, "недемократическая" — неважно; с и с т е м а — вот, что важно, ибо она может быть, сама по себе, объектом о б ъ е к т и в н о г о мышления: Вот ты, к примеру, боишься, все-таки, что рано или поздно, Система разнюхает про тебя, к т о ты такой, и шею тебе свернет. Напрасно надеешься! Система — уже с большой буквы — муравьев перестанет замечать. Итак, в моем анализе того, что происходит в России, я вижу две фазы..."

ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ: БЕСЕДЫ О ПАМЯТИ И НЕЗНАНИИ

Осень 1950-го года. Андрей, Геня и я. Мы стоим (все ступля заняты) в Ленинской Курилке, и я отчаянно пытаюсь вовлечь их (и себя) в беседу на тему как можно более абстрактную, и далекую от моих крайне конкретных обстоятельств — с целью, хотя бы на время приглушить страх, вызванный этими самыми обстоятельствами. Паралич страха давно прошел. Страх — выздоровел.

Я: А может так случиться, что через двадцать лет я буду в состоянии представить себе и вспомнить не только вас и себя, но и все э т о?

Геня: Не забывай, что через двадцать лет это будет зависеть от состояния твоего сознания, и от того, з а х о ч е ш ь ли ты это сделать.

Я: Я знаю, что — захочу!²²

Андрей: Вы опять забыли о Системе. Представьте себе, пожалуйста, вот такую ситуацию. Человек живет 70 лет. Допустим, что в 20 лет ему уже есть, ч т о сказать, и что он может это делать ясно и понятно. Тогда в течение оставшихся 50-и лет он будет говорить э т о двум — по крайней мере — поколениям своих младших современников. Тогда тот из них, которому с е й ч а с 20, будет еще в течение 50-и лет помнить о том, что наш человек (которому сейчас под 70) знал еще 50 лет назад. Так мы получим сто лет — сто лет н е п р е р ы в н о й памяти. Но в интересах "Людей Системы" — уничтожить любую память о том, что было д о н и х. История должна каждый раз вновь начинаться — с н и х. Поэтому, они стремятся к т о

22. То, что я сейчас об этом пишу, не доказывает, что *тогда* я был прав. Сейчас — это литература.

му, чтобы сделать с о з н а т е л ь н у ю жизнь поколения как можно короче, чтобы она скорее прокручивалась и кончалась. Тогда они будут всякий раз иметь дело с н о в ы м и людьми со свежей памятью, и еще не сформировавшимся языком, то есть языком непригодным для передачи и того немногого, что они помнят. Таких людей гораздо легче сделать "своими" — по крайней мере, на срок жизни одного поколения Людей Системы. Иначе говоря, люди, живущие прошлым, оказываются достойными уничтожения (именно "достойными, а не "заслуживающими"!). И мы сейчас вступаем в эпоху, когда эта тенденция обретает свое выражение в языке и становится культурным правилом.

Я: Скажи, Андрей, сколько у тебя разных компаний — десять, пятнадцать?

Андрей: Ну что ты, прямо, как следователь. Нет у меня компаний. Один Михалыч мне компания.

Геня: А что если притвориться, что ничего не помнишь и — выжить? А потом все сообщить.

Андрей: Это будет уже не та память. Ты будешь, как тот последний попугай на острове Тасмания, запомнивший последние слова исчезнувшего д о н е г о языка.

Геня: Все равно — ведь останется сам факт моей попытки объективного познания нашей ситуации.

Андрей: Я как раз ему (то есть мне) сегодня говорил, что сейчас возникает такая ситуация, которая едва ли оставит нам более, чем ничтожный шанс на выживание. Так что познаем ли мы эту ситуацию объективно или нет — в ж и з н е н н о м смысле не имеет никакого значения.

Геня: Тут есть один маленький пунктик, Андрюша, представляющий известный о н т о л о г и ч е с к и й интерес: а что, если сама эта ситуация мо-

жет возникнуть только при условии нашего о ней незнания? И тогда, почти по Гегелю, получается, что то, чего мы лично, индивидуально не знаем, превращается в объективную необходимость, становится историей.

Я: Это — Гегель наоборот: ибо если бы мы об этом знали, то это бы осталось фактом индивидуального сознания, не превращаясь в историческую необходимость.

Андрей: Смотрите, смотрите! Все они знают, черти, (почти в восторге) все умеют сказать! Я бы все на свете отдал, только бы вы выжили. Но ведь это — шутка. Мы никогда не начнем истории. Мы всегда — уже в ней. А раз мы в ней, то даже если вы с Генией правы, то все равно поздно, ибо наша ситуация уже сделала так, что мы ее во время не poznали.

Геня: Великолепно! Из этого вытекает, что на субъективном уровне становится чрезвычайно полезным занятие вещами, не требующими никакой рефлексии — ни личной, ни исторической. Занимайся атомной физикой, или физикой твердого тела, или радиоволнами (Геня, как и я, блестяще завалил физику в школе). Ты будешь жить в чудесном маленьком домике или в чудной городской квартире, играть в теннис и кататься по Подмосквовью на своей машине с женами твоих коллег — это у них так заведено, я знаю. Ты забудешь о своем Страхе, и те же самые агенты, которые за тобой следят, будут тебя прилежно охранять — как сокровище общесоюзного значения.

Андрей: Это — тоже неважно. В познании — как и в любви — не может быть замены одного субъекта другим. Тот, кто не знает, все равно будет не знать, сиди он на чердаке с Кантом на коленях

- Я: или на Академической даче на Николиной Горе. Послушай, а почему некогда, в древней Индии (о которой я тогда имел еще более приблизительное представление, чем сейчас) такая замена субъекта теоретически допускалась? Я думаю, что там почти не имело значения, кто что знал. Гораздо важнее было то он (кто угодно!) узнал. Я отказываюсь объяснить это важнейшее различие между нами и древними индийцами тем, что за нами следили, а за ними — нет.
- Андрей: Если с познанием у древних индийцев было действительно так, как ты говоришь, то я был бы склонен объяснить это тем, что в их культуре существовал, как бы, другой "эпистемологический режим..."
- Геня: О, теперь я, кажется, понимаю — как выразился бы наш исчезнувший Ника — то есть не потому древние индийцы думали не так, как мы, что за ними не следили, а наоборот — сам их способ знания исключал возможность слежки за з н а ю щ и м и.
- Я: А не сосредоточиться ли нам на время на незнающих?
- Андрей: Это не входит в нашу задачу.

ГЛАВА ПЯТНАДЦАТАЯ: ПРЕДЕЛ РЕГРЕССИИ

В конце 1965-го года среди друзей Гени распространился слух, по своей сенсационности оставляющий далеко позади Космические полеты, Кубинский Кризис, Децентрализацию Промышленности, и устранение от власти Последнего Главы Государства: Геня, вечно ночевавший по теткам, или под столом у Ардатовых — п о л у ч и л к в а р т и р у. То есть, не

квартиру, конечно и, даже, не приличную комнату в коммунальной квартире, а... каморку ("Чулан в Черкизове, без окна и с холодной уборной на соседнем дворе" — мягко шутил Додик).

К тому времени, Ленинская Курилка — как социальный институт и место философствования — уже прекратила свое существование так же стихийно, как возникла в середине сороковых. А не произошло ли то же самое и с нашим Двором и Переулком? Философия последнего была возможна только в обстановке неощущения и невыражения страха, который т а м б ы л, присутствовал за спинами присутствующих, так сказать. Философия Ленинской Курилки была порождена Параличем Страха и его (паралича) прекращением. Но уже в начале шестидесятых реальность страха стала фикцией. В особенности — для младших представителей нашего поколения ("Ваши дети", называл их дедушка), которые (как и мы сами) начали жить в с в о и х квартирах. А у себя — не пофилософствуешь! Происходила "атомизация бытовой метафизики" (по определению Андрея).

Но так или иначе, а я получил персональное и письменное приглашение от Гени (впервые в жизни!) на, как бы, новоселье. После этого удивляться было уже нечему. Темный чулан в Черкизове оказался великолепной однокомнатной кооперативной квартирой. Тетки — Эстера и Ольга Соломоновны — умерли почти в один день и дали (до своей смерти, конечно) ему три тысячи.

На кухне, за новым круглым столом, уже сидели Додик, полковник Сергей Аристархович Петренко, и легендарные братья Кутейщиковы, Иван и Гордей ("близнецы с Фрунзенской Набережной" — называли их у нас во дворе). Во времена моего детства братья славились своей силой в драке, хитростью и феноменальной распущенностью (домработницы пугали ими родителей).

"Смотри, Гордюша, кто пришел! — орал Иван, обнимая меня удушающей медвежьей хваткой, — да ведь это же — то самое еврейское косое дитя с Саймоновского, завернутое в три

одеяла". Петренко сосредоточенно открывал принесенный им коньяк "Енисели", а Додик разливал портвейн "Южнобережный" — Гене и себе, по маленькой рюмочке, ибо оба они не пили (Геня — никогда, а Додик — после больницы).

"Ну, Санек, — начал Гордей, — как живется, как думается?" "Ты опять все забыл, чему я тебя учил, — не дав мне ответить вмешался Геня, — ведь если живется, то — не думается. Делать две эти вещи одновременно — невозможно!" "Это не имеет никакого отношения к новоселью, — возразил Иван. — Между прочим, Геня, ты — единственное известное мне лицо еврейского происхождения, начисто лишенное того, что именуется еврейским юмором. Ты даже и попыток не делаешь. И опять же, между прочим, не забавно ли, что когда бы мы в юности, ни беседовали о нас самих, то никогда не п и л и. Питье пришло позже, во время войны, когда мы выпрыгнули из наших кроваток на Саймоновском прямо во фронтовые теплушки. Тогда мы и стали материться и пить, чтобы с т а т ь!" "Скажи лучше — чтобы п е р е с т а т ь, — поправил его Геня. — Не столько, чтобы стать и м и, сколько чтобы перестать быть с о б о й. Для этого имеется множество широкоизвестных способов".

"Я слышал об одном способе остаться самим собой, — сказал Петренко, — это — умереть. Вот сейчас, когда Иван Кириллович упомянул теплушки, мне тут же вспомнился тот вагон проклятый, где я в последний раз видел вашего Роберта. Знали бы вы только, как Генрих Натанилович из меня все про него вытягивал — почище следователя Смерша! Но имейте в виду, я — не философ, и не знаток человеческих характеров. Так вот, я там собрал несколько молодых офицеров, ну, и как раз в разгаре нашего бивуачного застолья, так сказать, майор Кораблев под каким-то предлогом вызывает меня в коридор и спрашивает, каково мое общее, так сказать, впечатление. Я говорю: "Господи, о чем вы меня спрашиваете? На Сэвиансе же л и ц а н е т, а оно у него раньше было!" А Кораблев ко мне нагнулся и, жестко почти, прошептал: "Сереза, он же — уникал! Он с в о е г о лица больше иметь не хочет, так что ему остается либо чужое на себя напялить, либо так, без лица, и умереть..."

“Но почему бы вам с Кораблевым прямо ему, Роберту, тогда и не сказать: слушай ты, идиот хуев, молокосос ебанный, убывайся отсюда назад, в казарму, и жди общего для всех предписанья!” — раздраженно перебил полковника Гордей. Петренко вертел в руках рюмку и нерешительно, словно раздумывая, начал так: “Я не совсем понимаю, чего бы я этим достиг. Ведь дело уже было сделано, некоторым образом...” — “То есть, это безусловно имело бы смысл, верни вы ему лицо, да?” — вмешался Геня.

Петренко оставил рюмку в покое и продолжал: “Позвольте мне говорить о том, что б ы л о, и что я т о г д а думал и говорил, а не о том, что я м о г б ы подумать или сказать об этом сейчас. Лицо Роберт потерял, безусловно, еще до той выпивки в вагоне. Он потому туда и явился, что его уже потерял. Он с матерью и отцом не захотел проститься, потому что его потерял. Кораблев тогда сказал: “Дурак идет навстречу своей дурацкой судьбе”. А я подумал, что это — не так. Роберт скорее у х о д л от своей судьбы. А дальше — погибнет он или выживет — неважно, ибо он будет уже в каком-то другом, мне неизвестном к а ч е с т в е.

Да и вообще, милые мои друзья, откуда вы взяли, что он бы меня стал слушать? Меня, по-моему, вообще никто никогда не слушал. Когда я приказывал, то мой приказ выполняли (или — не выполняли), когда просил, исполняли просьбу или отказывали в ней. Но слушать! Я так, честно говоря, думаю, что сейчас, впервые в жизни, меня кто-то с л у ш а е т”.

Наступило несколько неудобное молчание. Додик выпил свою рюмочку портвейна и сказал: “Голубчик Сергей Аристархович, так это же н е м о т а наша не дает нам слушать! Мы ведь только и можем, что — в ы с к а з ы в а т ь с я, то есть высказывать с е б я. Вообще же мы — немые. Слушание уже есть отвлечение от себя и включение себя в д р у г о е, в то, что в отношении тебя, здесь и сейчас, есть о б ь е к т и в н о с т ь, будь то Бог, собеседник, или кто бы то ни было”.

Петренко ушел. Иван допил Енисели и сказал: “А, Санек, полковник-то наш удержался на черте, все-таки! Ни тебе бляд-

ской русской трогательности, ни тебе дешевого еврейского обыгрывания словечек. Хотя, впрочем, если ты меня спросишь, то сам феномен русско-еврейского сочетания представляется мне чем-то вроде "балерины-машинистки": руки печатают, а ноги под столом играют. Печатает она, конечно, с ошибками. А знакомые вздыхают: такая, говорят, способная женщина, а что делает! Да ничего! Обе нации — равновшивые! Чуткий полковник, а?"

"Мое дело замечать, а не выносить суждения, — ответил за меня Геня. — Все, что ты хотел сказать, это то, что Сергей Аристархович воздержался от регрессии. Но регрессия, все равно, здесь, с нами. Твое последнее сравнение само есть ее симптом: мы удачно реагируем словами, вместо того, чтобы созерцать случай в случае. Русские, евреи, немцы, амерканцы, все это — случайные точки в пустом пространстве нашего собственного недуманья. И только мы начинаем это пространство наполнять, то заполняем его собой, своим. Объекты мышления уже не мыслятся нами, как его, мышления, случаи. И само мышление превращается в поиск себя в другом и... прекращается. Его больше нет. Да и нас самих больше нет — ведь мы себя уже выразили, как что-то чужое и, я бы позволил себе добавить, чрезвычайно важное".

ГЛАВА ШЕСТНАДЦАТАЯ: НА МОЕЙ КУХНЕ 1966-го

"Андрей, — начал я, — а ведь тебе очень хочется считать, что за всем этим — тем, что и не перескажешь — стоит что-то одно, неопределенное, но фундаментальное, и что всякий раз когда мы падаем, то об него-то и разбиваем носы". "Милые вы мои, — тоненьким голоском вскричал Додик, — не когда вниз падаем, а когда вверх подпрыгиваем и разбиваем макушку о потолок, тщеславно полагая, что там — наш предел!"

Андрей был "поздний" и все было позади. Страх за жизнь молчал почти во всех нас, но не в нем. Вступил Геня.

Геня: Итак мы — в третьем периоде философствования. Первый прошел во дворе, второй — в Ленинской Курилке, третий проходит на кухне (почти у каждого — *своей*). Третий себя уже почти исчерпал, едва начавшись, а отчего? От предельного приближения к т е м е, я бы сказал. В первом периоде темой были мы сами. Но, слава Богу, мы оказались чуть-чуть стары для походов по дальнему Подмоскovie, не говоря уже об альпинизме. Подумать только: каких-то жалких три-четыре года, а какая разница! Думая сейчас о нас в конце тридцатых, я вижу не нас самих, а наши, как бы еще при жизни "выделенные" астральные тела.

Я: Не выделенные, а выдавленные неосознанным нами давлением жизни!

Андрей: Да вы с ума сошли! Впрочем, тогда меня с вами не было. Я вот только думаю: хватит ли вас еще лет на десять?

Я: О Господи, ты это же самое говорил пятнадцать лет назад в Курилке. У тебя, как и у Гени — привычка отождествлять жизнь с разговором о ней. А если серьезно, "хватит ли нас еще лет на десять" — н а ч т о?

Андрей: На жизнь. На что еще? Теперь ведь, кажется, нас никто не собирается убивать?

Додик: Голубчики вы мои, простите мне эту дерзость, но из-за этой, только что упомянутой Генией разницы в возрасте, вы опоздали не только на турпоходы и теннис, но и на... понимание и н д и в и д у а л ь н о й смерти. Я сам несколько раз умирал от сердечных припадков, усугубленных всякого рода излишествами. Мои подруги умирали

- от дурно сделанных аборт и белокровия. Не презирайте нас, или, вернее, презирайте нас, но уступите нам одно наше право и преимущество — умирать п е р с о н а л ь н о! Ваше детство было настолько пронизано идеей к о л л е к т и в н о й смерти, что когда человек стрелялся из-за несчастной любви, как мой двоюродный дядя Левит, то вокруг шептались, что это — неспроста. А мой сосед, генерал-майор Сидорец, однажды вполне серьезно высказался в том духе, что де, если его не расстреляют, то он будет жить вечно. Но это же — почти гениально!
- Андрей: Ничего гениального. Просто результат поверхностного наблюдения теперь покойного (все-таки!) генерал-майора за выжившими коллегами. Мертвых я тогда не имел возможности наблюдать, ибо пребывал в детском саду, в то время как в ы уже учились в средней школе. Сейчас, по роду занятий и личному пристрастию много наблюдая за мертвыми и за собой, как первым туда кандидатом — клянусь: все они умерли (или умрут) — п е р с о н а л ь н о!
- Додик: Значит — они так хотели!
- Геня: Это — феномен нового нигилизма.
- Андрей: Ничего подобного. Просто — неуправляемый и всеохватывающий процесс либерализации в России коснулся, наконец, и смерти.
- Додик: В этой остроте я ощущаю сильный якобинский привкус. Когда нам уже не о чем серьезно разговаривать, то мы начинаем высмеивать то, о чем раньше говорили с благоговением.
- Андрей: Со страхом, милый Андрей, со страхом, а не благоговением. Невозможно же двадцать лет подряд опять и опять впадать в патетический тон при упоминании об утерянной возможности быть коллективно уничтоженным.²³

23. В этом я ошибался. Прошло еще 20 лет, но впадение в патетику по этому поводу даже усилилось.

- Геня: Я только единожды видел, как дедушка Тимофей Алексеевич действительно сердился. В конце пятидесятых к нему пришли в гости двое вернувшихся из лагерей бывших соседей, Эммануил Гребнер и Ипполит Зыбковец. Пьют чай, рассказывают: "Так мы день — на корке хлеба, месяц — на корке хлеба, год... и выжили". А дедушка: "Так отчего же, вы думаете, вы выжили-то?" Зыбковец ему: "От силы духа. Сила духа, — говорит, — у нас была". Тут дедушка почти закричал: "К а к о г о д у х а ? в а ш е г о ?"
- Я: Значит, Геня, в конце пятидесятых Тимофей Алексеевич был еще жив?
- Геня: Пожалуй, да.
- Андрей: Что это — мистический разговор? Почему в других местах Москвы и, вообще, космоса люди или живут, или умирают, а в вашем идиотском перелуке они то ли живут, то ли нет? А нет ли во всем этом элемента шарлатанства?
- Додик: Я вижу в этом, скорее, экзистенциальную шутку своего рода.
- Геня: Нет. В этом нет ни того, ни другого, хотя, конечно, дедушка научил Нику и меня относиться к его, и к нашей смерти с некоторой иронией. Такое к ней отношение характерно для п р о м е ж у т о ч н о й с и т у а ц и и . Достаточно себя поместить в такую ситуацию и... То есть, конечно же, п о м е с т и т ь себя в нее — невозможно. Но можно в ней о к а з а т ь с я . Я думаю — и это самое интересное — что те, кто в нее попадают, не м е н я ю т с я . И ты сам, и то, что тебя окружает, остается тем же самым д л я с е б я — но не д л я т е б я . Для тебя же самого, ты сам, другие люди, вещи и места обретают особый смысл. Особый, но не д р у г о й . Можно даже сказать, что они д л я т е б я обретают с в о й (т.е. и х)

собственный смысл, которого в другом месте — вне промежуточной ситуации — они не имели. Кто знает? Может быть, вне этой ситуации они вообще не могут иметь никакого реального смысла для тебя. Когда я повторяю “для тебя”, я имею в виду, что само понятие “промежуточной ситуации” имеет смысл только для одного, данного, то есть присутствующего здесь и сейчас человека.

Андрей: Почему ты называешь эту ситуацию промежуточной? Только говори осторожнее; видишь, Саша весь дрожит. Додик, дайте ему валерьянки, пожалуйста.

Геня: “Промежуточное”, это то, что находится между твоим субъективным психологическим восприятием себя и жизни, и объективностью сознания. В этом — главное отличие промежуточной ситуации от “пограничной ситуации” или “ситуации выбора” у экзистенциалистов. Они ввели это понятие...

Додик: Но они это сделали, чтобы показать, как сама жизнь кристаллизуется, подводит человека к данному моменту решения и выбора. И этот момент — один. В тот же момент будет момент смерти. Поэтому, этот момент и есть единственный момент бытия.

Геня: Так не может получиться. Сама жизнь не кристаллизуется. Что-то может происходить только в сознании, которое всегда есть. “Ситуация выбора” экзистенциалистов — выведена из жизни и полностью подчиняется ее, жизни, логике. Их бунт, поэтому, чистая риторика. Их сознание парализовано романтическими амбициями, а их эстетика запрещает иронию. Вообще они — играют на руку жизни. Моя же промежуточная ситуация не вынуждает меня ни к какому выбору и, строго говоря, не имеет никаких последствий для

моей жизни. Но все мое прошлое, оказываясь о с м ы с л е н н ы м, уходит в смысл вместе с его, прошлого трагедией и непоправимостью; туда же "проваливается" важность происходящего и неотвратимость будущего.

Андрей: Твоя промежуточная ситуация не является ни феноменом, ни эмпирическим фактом.

Геня: Разумеется, она — ни то, ни другое. Потому-то она и может быть р е а л ь н о пережита. Переживший ее человек точно знает, что он уже не сможет вернуться к прошлому, ибо для него прошлое не существует. Но это переживание не приблизит его и к "жизни новой", ибо она будет всегда от него "отодвигаться" в неохватываемое сознанием будущее. Словом, моя ситуация называется промежуточной потому, что она оставляет пережившего ее в б е с к о н е ч н о м п р о м е ж у т к е между исчезнувшим, то есть, превратившимся в смысл прошлым и — будущим, которое из "ожидаемого" или "обозримого" превратилось в с и м в о л еще не свершившегося сознания. Поэтому, такой человек не отмечает этапы к достижению цели, а наблюдает т о ч к и с о з н а т е л ь н о г о п р о х о ж д е н и я. И было бы смешно и нелепо, если бы он "свободно предоставил себя в распоряжение других": люди цели не могут реально воспользоваться с в о б о д н о п р о х о д я щ и м. Его слова и дела не послужат никакому делу.

Андрей: Как я понимаю, твой "свободно проходящий" занимает "промежуточное положение" между сверхчеловеком Ницше, homo viator'ом Габриэля Марселя и ангелом.

Геня: Нисколько, ибо, в отличие от них, он просто не существует как о т л и ч н ы й о т д р у г и х. Существует только это н е о т м е ч е н н о е состоя-

ние сознания, которое, хотя и вводит его в промежуточную ситуацию, но никак его этим "введением" не обозначает. Теперь делайте со мной, что хотите!

Андрей: С тобой ничего нельзя сделать, ибо твоя промежуточная ситуация — это трюк, который делает тебя неуязвимым в споре. Временно, разумеется, пока собеседники не придут в себя...

Додик: И не вернутся от самих себя к "проблемам дня", так сказать. Вы это имеете в виду, да?

Андрей: Я просто думаю, что Генина промежуточная ситуация может быть понята — или пережита — не более, чем одним человеком в каждый данный момент. И в этом смысле, она действительно — предельно индивидуальна.

Додик: А не кажется ли вам, что — по той же причине — и смерть не может быть пережита более, чем одним человеком в каждый данный момент?

Я: При том, что в обоих случаях с а м с л у ч а й никак не будет зависеть от переживающего. От него будет зависеть лишь к а к пережить, но не факт переживания.

Когда через восемнадцать лет я пересказывал эту беседу Нике (в начале нашего разговора об экзистенциалистах, на набережной Сен-Мишель), то он заметил, что само понятие п е р с о н о л о г и и вытекает из объективности, не-психологичности сознания. Так, к примеру, сам случай включения человека в промежуточную ситуацию — объективен. Но поскольку подавляющее большинство философствующих продолжает мыслить, говорить и писать в категориях "общего", частного, единичноно", то им будет очень трудно понять, что в промежуточной ситуации мы всегда имеем дело с единичным случаем о д н о й и т о й ж е объективности сознания. Когда же я его спросил: "А как же с Робертом? Неужели э т о в нем исчезло?", то он, после небольшой паузы, сказал, что случай "случается", так ска-

зять, только с тем, кто м о ж е т его пережить, но это не значит, что он это сделает. И добавил: "Нет борьбы сознания с жизнью. Сознание ни с чем не борется. Но наблюдающий промежуточную ситуацию в д р у г о м (что вряд ли возможно без особой способности наблюдения), видит ее, как борьбу другого со своей (другого) жизнью. Можно, конечно, и с о в с е м уехать — как я, например, но это далеко не всегда дает дополнительный шанс. Роберт пошел навстречу смерти во имя жизни, что объективно — омерзительно (смерть такого не прощает!). Он оставил данную ему (природно?) потенцию включения в промежуточную ситуацию, но не попал в сознательную ситуацию смерти. Я оставался в ней на всю жизнь, но заплатил за это п о л н о т о й жизни. Но это, разумеется, только если смотреть со стороны — само сознание не знает цены и платы, как оно не знает и борьбы. Геня, например, обожает наблюдать, и поэтому, должно быть, его не интересует счастье. А Роберту, чтобы вновь "попасть в случай", нужно будет пройти через вторичную смерть". "А как же со мной, — не удержался у, — представится ли мне такой случай?" — "Не знаю", — засмеялся Ника, — "ведь ты, парафразируя Георгия Ивановича, который, естественно, тебя не мог знать, до сих пор не решил, что тебе делать со своим пудингом, и пока отщипываешь по кусочку от чужого. Помнишь, как мы обедали в клубе вчетвером — Артур, Фредерик, ты и я? После обеда Артур сказал дяде Фредерику, что ты — самый неталантливый из известных ему необыкновенных людей. Меня это определение очень рассмешило, а Фредерик к этому добавил, что твой удел — вечно быть в высшей лиге. И не потому, что ты этого заслуживаешь "по классу", а потому, что ни в какую другую тебя не примут по уставу. Ну, недоволен? Сам напросился, как любил говорить Роберт".

Одно из страннейших обстоятельств моей жизни (а может быть, и не только моей) заключается в том, что какие-то люди не могут в ней совпадать друг с другом во времени: присутствие одного почему-то исключает присутствие другого. Так, пока в моей жизни был Роберт, там просто не могло быть

Ники. Они, может быть, и появляются-то лишь для того, чтобы укрепить во мне память друг о друге для "там впереди" будущего сознания, и совсем не для повторения того, что было "там позади". ...Они освещены с з а д и, но светит-то всегда вперед. Чтобы видеть — не следует оборачиваться.

"Возвратись я туда перед войной, — говорил Ника, — я бы, возможно, стал почти тем, что я есть сейчас. Но заметь, п о ч т и! Тетка двоюродная из Канн (прежде из Калуги) звала недавно поехать, посмотреть "дорогие гробы" (она, конечно, хотела сказать — могилы!). Дядя Фредерик был в нерешительности некоторой. Но дай мне вернуться к "почти". "Почти тем же" это значит — тем же, но без л е г к о с т и. А я не могу жить, не ходя легко. Там бы, боюсь, ходил бы я тяжело, а бегал — прытко... Но это — был бы не я".

ГЛАВА СЕМНАДЦАТАЯ: РИСК

Поздняя осень 1978-го года. Наш Оксфордский день был закончен. После ланча в Сент-Антонис и недолгой встречи с Зерновым (он уже терял зрение, но в теологической беседе был, как всегда, зорек и абсолютно определен, хотя и без малейшей настойчивости) мы вернулись на поезде в Бирмингам.

"А не смотришь ли ты сам на это твоё "мерцательное", так сказать, пребывание с грустью?" — спросил я Нику, когда мы уселись на полу перед газовым камином в его маленькой гостиной.

"С грустью — да, но не с сожалением. Ах, как неполна моя жизнь! Но я никогда не стремился к полноте жизни. Я, скорее, даже побаивался ее, полагая, что пусть будет поменьше, чем чуть больше. Но мы все еще в плену у хронологии Круглых дат. Ведь подумай только! В тот самый 1948-ой год, когда ты (согласно Гениному рапорту) истерически метался по Москве и Подмоскovie, а потом, уже в полной панике, "умотался" на

Урал, к профессору Воронову, я улетел в Перу. Я был послан ознакомиться с условиями строительства нового промышленного комплекса. Дядя Фредерик тогда колебался, вкладывать ли ему деньги и энергию в это несколько необычное бельгийско-португальско-американское предприятие и поручил мне "составить свое собственное мнение" и сделать ему полный отчет. Там же, в Перу, я решил отпраздновать десятилетие своего "убегания" из Москвы. Но я знал — ах, как точно я знал — что никакого убегания не было!

Москва не наполняла меня. Я просто пребывал в узком прямоугольнике Третьего Обыденского, время от времени делая это пребывание с Робертом, родичами, и, под конец, с Анатолием. Но как-то незримо для меня (о, этот Никин русский язык!), прямоугольник стал превращаться в треугольник с очень узким основанием, и вершиной в виде дедушки Тимофея. Но и треугольник, сужаясь, грозил превратиться в прямую линию — и я был буквально в ы т о л к н у т из этого, катастрофически уменьшающегося пространства навсегда.

Судьба сделала свою работу, и дедушка Тимофей безумно испугался, как бы я, по чьей-нибудь ошибке, не попал под колеса чужого поезда, вместо того, чтобы "спокойно" уехать на своем. Так зачем же было праздновать годовщину исполнения работы, не тобой, хотя и для тебя, исполненной? Ты же, напротив, был наполнен Москвой и жизнью, и бежал на Урал, боясь п е р е п о л н е н и я в виде ареста, допросов и лагеря. Судьба всегда ведет тебя по краю — в каком бы пространстве ты ни пребывал. Так что увеличится ли твое пространство, уменьшится ли, ты этого и не заметишь.

Но так или иначе, я, сидя на гигантском пляже, смотрел на безбрежный Океан, весело болтал со своим приятелем Джорджем и двумя испанскими девушками, пил жутко крепкий напиток по имени Тэгор и про себя, без единого звука об этом, праздновал десятилетие своего "обрыва". А ты — как хорошо я вижу тебя сейчас — ты только недавно бросил эти idiotские празднования. Да и то, едва ли не в последний момент. Следя за тобой, как навечно приставленный шпик, не получил

ли я от того же вечного Гени полного отчета о праздновании тобой "Вторичного Совращения" 26-го января 1959-го года?"

"Трепач чертов, Геня, — сказал я, — так его же самого там не было, о Боже!" — "Совершенно неважно, был ли он там п е р с о н а л ь н о или не был", — наставительно возразил Ника, — но совершенно очевидно, что на следующий день он обстоятельнейше проинтервьюировал твою тетку Эсфирь Григорьевну, а потом "дорабатывал детали" с твоими неизвестными мне друзьями Сережей и Леней. Он-то, Геня, то есть, и заключил письмо об этом событии словами: "Я склонен рассматривать этот поступок не только как крайнее проявление его (то есть твоего) идиотизма, но и как стремление к его (то есть идиотизма) символизации". Когда я заверил Нику, что мне пришлось немало посожалеть об этом и некоторых других празднованиях и что возможно, что в них-то и проявилась моя внутренняя склонность к самоотмечиванию, то он сказал, что, конечно, любое мышление п р о с е б я — трудно, если оно не вынесено: "Поэтому, пожалуй, думать о себе вообще не стоит. Но еще хуже — пытаться понять жизнь "как она есть".

"То, что в России называется пониманием жизни, — продолжал он, — убивает реальное философствование еще в зародыше, и — вместе с еще неродившимися философами. Достаточно взглянуть на сами в о п р о с ы: Что делать? Кто виноват? Как жить? И все прочее. Жуткое дело!"

В моем четвертом "левом" письме Гене (для Андрея, который тогда еще был жив) я пытался сформулировать Никины и мои попытки философской откровенности. Уже в самом начале любого индивидуального философствования абсолютно необходимо полное оставление тобой п о н и м а н и я жизненных связей. Побочная цепь философии (прямых целей у нее нет) — выход из жизненной необходимости. А ничто так не привязывает к жизни, как ее понимание. И даже если ты живешь в ней телом и душой, то по крайней мере, не занимайся ее "постижением": живи бездумно; думай безжизненно, живи легко (о!); думай тяжело (это — легче!); слушайся жизни в делах жизни, как должно слушаться и почитать ста-

рого отца, но помни, что в философствующем нет места ни послушанию, ни уважению. Андрей читал и немного обижался. На Геню, конечно. В России всегда реагируют на "передающего", а не на источник — и правильно!

Отбрасывание идей, настроений, обстоятельств, чего угодно — есть предвестие поражения или само поражение. Все, что ты хочешь отбросить, надо сначала переработать в сознании, превратить из факта жизни в с о б ы т и е сознательного опыта, а потом — не отбросить это от себя, а отодвинуть себя от этого, о т с т р а н и т ь с я, так сказать, от этой части своей же собственной сознательной жизни. Это "отстранение", отодвигание с е б я — вместо отбрасывания д р у г о г о — было сформулировано Эдиком (Давидом) в его письме ко мне от 20-го июля 1975-го года из Чикаго. Пересказывая эту и другие его мысли Нике уже после смерти Эдика, я добавил, что в моем случае (из-за природной трусости, должно быть) судьба нередко совершает эту работу для меня, а точнее — в м е с т о м е н я, превращая мои неформленные сознанием стремления во вполне ясные случаи — д л я н а у ч е н и я, что ли.

Ника, внимательно выслушав, заметил: "Эдик потерпел поражение в двух опаснейших для людей его типа точках — в отношении е в р е е в и ж е н щ и н". Мне это замечание показалось странным и неожиданным. Но он продолжал.

"Ты сам это уже давно понял, но забыл или просто не хочешь напоминать себе об этом. Ведь каждый христианин, каждый гой, так сказать, хоть с унцией мозга в черепной коробке, з н а е т, что он — новый еврей, и как таковой наследует Израиль. Отсюда — так именно и утверждал дедушка — прямая необходимость антисемитизма. Ведь нормальный житель земли не может не подозревать в злонамеренности и кознях ее, земли, законного наследника — по все еще не отмененному Ветхому Завету. Поэтому у обыкновенного среднего христианина, даже если он атеист, практически отсутствует сознательный выбор в отношении евреев. Ибо, если он порядочный человек, то отбрасывает антисемитизм, но не совершает при этом с о з н а т е л ь н о й работы по отстранению себя от него, то есть ведет

себя, как "незаконный сын". А если он не порядочный, хамское отродье, так сказать, то принимает антисемитизм как вполне ч е л о в е ч е с к и оправданный способ защитить сквотера от притязаний законного владельца — и не беря греха на душу.

У еврея же — и у русского еврея, в особенности — ситуация получается несколько более сложной. На низовом уровне, он не хочет, чтобы русские морды с улицы тыкали ему в рожу его еврейство. Однако, поднявшись на ступень выше, он уже не хочет, чтобы его соплеменники о б я з ы в а л и его считаться евреем. То есть на этом, втором, уровне, он хочет быть одновременно и "в некотором роде евреем", и "свободным человеком на голой земле". При этом, конечно, он забывает, что тогда он — ничего не наследует и менее всего отнюдь не голую Землю Обетованную. Помню, где-то в конце тридцатых, дядя Фредерик взял меня с собой навестить тогда почти еще молодого Артура. Тот тогда пребывал в весьма странном учреждении — нечто среднее между наскоро сымпровизированным странноприимным домом для беженцев из революционной Испании и вульгарной тюрьмой. Артур — тогда уже в который раз разочаровавшийся в левых идеалах и обратившийся в лево-кооперативный сионизм — кричал на своем австро-венгерско-французском диалекте: "Дайте нам оглянуться! Дайте нам впервые за два тысячелетия увидеть мир из н а ш е г о места!" Дядя-то, хотя и не философ, но прокомментировал с почти картезианской ясностью: "Вздор, mon cher! Такого места — нет. Ты, как человек бескорыстный и отважный, хочешь с р а ж а т ь с я. Тебе поле битвы нужно, а не место, где можно было бы оглянуться (хотя бы и с опаской!)"

Однако, все участники этого и других разговоров того времени — и Артур, и Георгий Иванович, и Фредерик и, даже, наши с тобой отцы и матери, — все обладали одним общим свойством: у них было много времени. Не парадоксально ли? Тут тебе и окопы Первой Войны, и бомбежки Второй, и советские чистки, и германские газовые камеры, и... черт в стуле! Но они — если выживали, конечно — продолжали жить на свой

манер. Потому что время у них было — или они думали, что оно у них было — для завершения безумств начала века.²⁴

У нас с тобой времени меньше. А у Эдика — он нас на поколение моложе — его было еще меньше. Но зато у нас есть другой шанс. Вместо их исторического долголетия и бесконечного переигрывания одной и той же партии мы можем просто — встать и уйти. Без опрокидывания карточных столов, без битья шулеров канделябрами, без гуманистической риторики с прав е д л и в о о б и ж е н н ы х. Беда Эдика была в том, что он, не обладая избытком времени наших отцов, думал и поступал так, как если бы времени у него не было вообще. Он знал, что такое отстранение вместо отбрасывания, но все равно отбрасывал — из-за чрезмерной своей "метафизической спешки". В конце концов, если судить по его последним к тебе письмам, евреи, как и вообще люди, крайне раздражали его непониманием е г о философии. Прекрасно осознавая, что философ и его философия — это одно и то же, он в то же время, стремился "расчистить себе почву" для философствования. И где расчистить! В Б о с т о н е, о Боже! Тут бы ему, казалось бы, и "самоустраниться" — ведь евреи, даже бостонские, слишком люди жизни, чтобы не уважать философа-аскета; но он, как р у с с к и й еврей, хотел и д т и д о к о н ц а (так быстрое?).

Ты скажешь, это — о жизни, а не о философии. С этим я никогда не соглашусь, ибо любая ошибка философа есть ошибка философская. Ведь даже Артур под конец жизни испугался (а он был похрабрее нас с тобой вместе взятых, да и с Эдиком впридачу) и согласился, что евреи поехали в Израиль, чтобы там жить, а не взирать оттуда на человечество, и быть для него образцом человечности. Какая уступка для человека начала века!

24. Вскоре после этого разговора Артур покончил с собой; на девятом десятке, кажется ("Не дотерпел до конца, — прокомментировал Ника, — не смог справиться с избытком отпущенного ему времени".)

Вообще я думаю, что еврейская проблема была выдуманна дьяволом, как весьма эффективный метод в его работе с мыслящими людьми. И когда философ (если он еврей) отрицает свое еврейство, то этим он низводит себя до уровня мыслящих людей. То же делает и философ не-еврей, если он отрицает — по смыслу — чужое еврейство, говоря, что оно не имеет для него значения. Но если философ-еврей говорит: "хотя я и еврей, но...", то это во сто крат хуже, ибо этим он отрицает т р а н с ц е н д е н т а л ь н о е е д и н с т в о того, что называется "философ".²⁵ Я думаю, что Филон Александрийский, который с "эллином был эллин, а с иудеем — иудей", жил еще в том "предпроблемном" времени, когда христианство только еще начинало себя формулировать как особый случай и с т о р и ч е с к о г о сознания. Сейчас настоящему философу в Бостоне, еврей он или не еврей, приходится думать прежде всего о том, как в с е х о б м а н у т ь — университет, друзей, семью — чтобы п р о д о л ж а т ь д у м а т ь, делая вид, что ты ж и в е ш ь. А это возможно только если ты уже отодвинул себя от наиболее животрепещущих проблем. Ха-ха! Они пусть трепещут, а ты — не трепещи и, Бога ради, не иди до конца ни в чем!"

ГЛАВА ВОСЕМНАДЦАТАЯ: НЕНАПИСАННОЕ ПИСЬМО И ПУШКИНСКИЙ ДЕНЬ

Сказать, что я все время ждал удобного случая, чтобы спросить Нику о Тимофее Алексеевиче, было бы преувеличением. Но вопрос оставался, хотя его праздность — не говоря о бестактности — была мне очевидна. В нашу предпоследнюю, до парижской, встречу, в 1983-м году, когда я стал ему рассказывать о приезде в Лондон одного из моих любимых москов-

25. Думая, что сохраняет "автономность философии". Это — довольно распространенная среди философов иллюзия.

ских друзей, Ника неожиданно обронил: "Не ищи подтверждения". "Чего?" — удивленно спросил я. — "Подтверждения с е б я — вот, что ты ищешь. Сохранения или, точнее, — восстановления н е п р е р ы в н о с т и своей биографии". И он продолжал так:

Ты думаешь, что я не слышу произнесенных вопросов? Хорошо — пусть будет так, как т ы хочешь, хотя и я этого иногда хочу, когда тебя вижу. Но не предупреждал ли я тебя, что на непрошенный вопрос и ответ будет непрошенным?

Итак, во-первых — п и с ь м о. Ты спросишь, не отправил ли я ему хоть одно единственное письмо за сорок пять лет, и не получил ли хоть одно в ответ? Нет! Этого не было. Уже первый, полученный мною е г о ответ, означал бы подтверждение меня т а м. Не прелестно ли? Я себе полвека летаю из Европы в Америку, из Перу на Гаваи и обратно и, одновременно, я — там, в Москве. Дешевый биографический трюк! Ты ищешь подтверждения, чтобы быть внутренне свободным, но никакой внутренней свободы нет — как нет вообще никакой о с о б о й свободы. Как приятно думать, фланируя между Сент-Джеймсом и Мэйфером, что ты навеки утвердился в сердцах друзей, еще фланирующих между Арбатской площадью и Смоленской. Т а м ведь ты тоже думал о чем хотел? Внутренняя свобода это, даже, и не ложь. Это — привычное вранье. Так врут холорпы, получившие временную поблажку от своих господ. Твое желание быть подтвержденным т а м это именно и означает: ты свободен, но для полноты жизни хочешь сохранить и т о самоутешение. Но ведь ты не можешь не знать, что полнота жизни исключает свободу, что биография уничтожает свободу, что всякое следование себе искажает свободу. Наша почти сорокалетняя переписка с Геней оттого и с в о б о д н а, что она не возвращает нас к прежней жизни, а фиксирует точки нашего мышления в н а с т о я щ е м.

Что мог бы я написать бабушке? Дорогой бабушка! Я люблю тебя и не могу без тебя жить? Так я же м о г у! Что бы он мог мне написать? Дорогой Ника! Я люблю тебя и продолжаю (или кончаю) жить, любя тебя? Так он же во имя любви и выслал меня сюда!

Геня мне пишет: "Вчера я думал (или говорил) то-то и то-то. Что ты думаешь об этом сегодня?" Или: "Говоря о том-то и том-то, я вспомнил, что ты говорил о том же". И так далее. "Зефирная рефлексия" Роберта²⁶ была его счастьем. Да, врожденный дар — скажешь ты, вундеркинд от сознания. Рефлекси́я заодно с жизнью. Даже его желание стать артиллерийским офицером (как твое — профессором философии) было, ведь, не более, чем эстетической грезой. Но вдруг — крак! Роберт захотел еще и жить. Жить о т д е л ь н о от созерцания, а созерцать — ну, скажем, "в свободное от работы время". И что же? Фиаско! Провал в то, что само Н И Ж Е жизни. Созерцание не терпит добавлений и совмещений. Мое письмо к бабушке было бы шагом назад к жизни, о которой он свидетельствовал, но которой он не жил. И пока та жизнь оставалась, он свидетельствовал о ней через меня, как позднее Геня наблюдал ее через тебя и Андрея. Но хватит о письме, которого не было. Я хочу тебе рассказать одну историю, о которой до сих пор не знает никто, кроме ее участников, а теперь — и тебя.

Дело было зимой 1937-го года, когда праздновали (роскошно, великолепно — как мне тогда казалось) Пушкинский Юбилей.

Мама Роберта, "чудом" (так тогда говорили) достала нам билеты на дневной спектакль Онегина с Жаданом-Ленским и Гагариной-Ольгой. Дирижировал, кажется, Самосуд (или я все спутал — неважно). День обещал быть необычайно счастливым. Мама, папа, бабушка Лидия и все братья и сестры с самого утра поехали на день рождения Лизочки, любимой папиной племянницы. Роберт явился в девять с огромным пакетом бутербродов, и мы четыре часа подряд ели их, пили чай, и играли в "Пушкинские строки" (Роберт выиграл 74 раза, а я — 68). Мы были буквально набиты Пушкинскими стихами, и продолжали цитировать их нараспев, когда шли к Большому по Волхонке, мимо Манежа, и через Охотный Ряд. До начала оперы ос-

26. Обрывы и смены тем — не мой стиль, а Никина манера разговора. Так, в предыдущей главе, говоря об отношении Эдика к евреям и женщинам, он просто забыл о женщинах.

тавалось еще минут двадцать, когда Роберт вдруг резко остановился, и внимательно на меня взглянул. Все вокруг было завалено снегом, крупные хлопья которого таяли на щеках двух счастливых.

“Никочка, — сказал Роберт, — а не находишь ли ты в том, что с нами сегодня происходит, что-то крайне необычное? Только не отвечай сразу. Сначала хорошо подумай”. В его голосе звучал давно мне знакомый триумф первого ученика в классе, который, однако, готов предоставить и “второму” его шанс на первенство. Я тщетно пытался выудить это “крайне необычное” из-под груды Пушкинских стихов и съеденных бутербродов, но так и не смог, хотя сам уже начал ощущать его присутствие не только в этом дне, но и в себе. “Хорошо, я облегчу вопрос: я пришел к тебе рано утром, и с этого времени до половины второго, когда мы отправились в театр, я чувствовал в вашей квартире нечто, чего я не чувствовал никогда прежде. А я бывал у вас сотни раз!”

Я напрягся так, что пот стал заливать мне глаза (ты ведь знаешь об этой моей неприятной особенности) и хотя так ничего и не придумал, но уже з н а л, ч т о з н а ю ответ на вопрос Роберта. Знал я и то, что когда узнаю этот ответ от него самого, то счастью этого снежного дня придет конец. И только когда мы уже смешались с нарядной, веселой толпой между колоннами Большого, он наклонился и прогудел мне в ухо: “Никочка, сегодня — первый день в моей жизни, когда я видел в вашей квартире т е б я и не видел там дедушки. Где он был тогда, я позволю себе спросить, и где он сейчас?”

После театра, утомленные и ошеломленные (первый раз в Большом!), мы решили побродить немного по пути домой. Снегопад кончился. Перед ярко освещенным подъездом гостиницы “Москва” стояла группа людей, одетых по моде Пушкинского времени. “Смотри, смотри! — заорал мне в ухо Роберт. — Они — прямо из Большого, не переодевшись и не разгримировавшись даже, в ресторан “Москва”! Вот счастливики!”

От группы отделились двое. Один — высокий, в гвардейской фуражке, толстом шарфе, шинели до пят, и с длинной тя-

желой тростью. Другой — низенький, крепкий, в цилиндре, с молодым и очень изможденным лицом. Высокий, очевидно продолжая разговор, почти прокричал: "И се оставляется вам дом ваш пуст! А что сие означает, не мне, невежде, вам растолковывать..." Тут Роберт (усталость и перевозбуждение взяли свое, я полагаю) не выдержал и, поклонившись, обратился к высокому: "Я очень извиняюсь, но вы действительно — артисты из массовых сцен в Онегине? Простите, но мне и моему другу было бы чрезвычайно лестно..."

Положив руку на плечо своего спутника, высокий проговорил, почти не глядя на Роберта: "Я, насколько себя помню, никогда не имел страсти к балам и народным гуляниям. Что до товарища моего, то балам он уже отдал дань... Но — артисты! Почему — артисты? Скорее — метафизики, если на то пошло".

И тут, когда Роберт — совершенно произвольно, я думаю — сделал шаг к высокому, а тот, как бы риторически огораждаясь, выставил вперед свою трость, совершенно неожиданно вступил в беседу я: "Простите мне мою назойливость, но, как я понимаю "будет дом ваш пуст" означает, что вот сейчас вернусь я в свой дом, а там — никого. И тогда..." "Вздор, *mon enfant*, — перебил меня молодой в цилиндре, — Когда вы сегодня покинули ваш дом, там тоже никого не было". "Слушай, они все знают! — опять крикнул мне в ухо Роберт. — "Что-то случилось, говорю тебе! Возникает какая-то крайне сомнительная ситуация, которая не замедлит стать опасной, и тогда..." "Дом ваш пуст, — настойчиво продолжал молодой, — означает не возвращение, а покидание, оставление. Оставление его всеми, кто в нем жил, чей этот дом есть и чьим он не будет более — таково Пророчество. Но есть и особые случаи. Так, к примеру, вы, *mon enfant*, оставите дом ваш, да и вы (в сторону Роберта) — тоже. Без вас дома ваши опустеют, живи там хоть по десять родичей со потомки их".

"А мы сами, мы — где тогда жить будем?" — спросил Роберт, сжав мою руку своей, холодной, как лед. "О, в местах самых различных и непредвиденных, — резко засмеялся высокий, — если захотите, конечно". "Но нас ведь не заставят силой

покинуть Москву”, чуть не плача спросил Роберт (я готов поклясться — он уже начал плакать, и это — в первый раз в моей жизни!). “Едва ли, едва ли”, — пробормотал высокий, — “Мы сами, вы сами, они сами — в и б р а е м. Но не замечаем этого или делаем вид, что не замечаем. Вы сами все с собой делаете — тогда другим и делать ничего не придется. Только — показывать знак”.

По ступенькам парадного подъезда “Москвы” сходил человек во франтовском сером пальто с котиковым воротником, черных в тонкую полоску брюках, узких ботинках со светло-серыми гетрами, светлосерых замшевых перчатках и мягкой борсалиновой шляпе. Темнозеленое кашне почти закрывало русую бороду. Он помахал кому-то легкой тростью с маленьким серебрянным набалдашником и, остановившись возле наших чудных собеседников, очаровательно улыбнулся и приказал: “Пора, Сергей Павлович, пора, Андрей Иванович. Времени — не много. Летом поздно будет. Да вот и наши экипажи!” У подъезда, разбрасывая снег, остановились два такси.

Потом он обернулся к нам, сбил тростью налипший снег с ботинок, опять улыбнулся, спросил: “Да вы ведь только с Онегина? Между прочим, как, по вашему мнению, был убит Ленский?” И не дожидаясь, сам же и ответил: “Как? Да по всем правилам, как, впрочем, был убит и сам Пушкин. Не верьте в коварство замысла, хотя верить в него — очень прельстительно и удобно. Замысел, всегда — мгновенен и прост. Его осуществление — как уже было замечено — протекало точно по правилам. Да, согласен (хотя ему никто не возражал), многое могло произойти между замыслом и его осуществлением, и коварство — тоже. Но конечный результат все равно был бы тот же. Но сейчас — не об этом. Москва вступает в годину столь смертельную, что захоти сейчас кто-нибудь — неосмотрительный и неоправданно оптимистичный — умереть, то я бы ему откровенно сказал: “Простите, батюшка имя рек, но вам придется подождать, ибо все билеты в смерть уже распределены по коллективным заявкам и, как предвидел Преподобный Серафим, “Ангелы не будут успевать принимать души усоп-

ших". Ибо замысел, боюсь, — хотя и точно знать не могу — был о б щ и й. Поэтому, сколь это ни прискорбно для желающих, выполнение и н д и в и д у а л ь н ы х заявок на смерть придется пока отложить, отдав предпочтение коллективным пожеланиям. И вообще, не надо быть эгоистом даже в наших, столь неприглядных обстоятельствах, неизбежность которых несомненна, и оттого — необсуждаема. Все это — к в а ш е м у сведению, хотя и не о вас самих, поскольку ни к году этому, ни к его людям вы, п е р с о н а л ь н о, не принадлежите. Но какое-то знание вам будет необходимо, чтобы пройти ч е р е з это время, о котором одни будут вспоминать с ужасом, другие — с благоговением, а третьи и вовсе забудут. Но почти никто не будет это время з н а т ь, как не знает его и сейчас. Ну, а теперь — всем пора к себе".

Мы откланялись и пошли домой. То есть я-то, хотя и очень быстро, но шел, а Роберт все порывался бежать, а потом останавливался и ждал, пока я его не нагоню. Ему было очень страшно, но он решил сначала зайти к нам, а уже потом домой. Когда мы, наконец, влетели в подъезд и стали подниматься по высоким каменным ступеням со сбитыми краями, Роберт прошипел мне в ухо: "Об этом — нигде, никогда, и никому! И слушай, этот человек в сером вечернем пальто — твой дедушка. Да ты и сам это знаешь".

У нас, разумеется, все были дома, и дедушка тоже. Бездна народу. Впервые в жизни я был этому рад. И даже не потому, что испугался; нет, это не был явный страх, как у Роберта — скорее, тоска, до того не испытанная, начала заполнять мне сердце. Мама отвела Роберта на кухню, где он истерически пил чай, стакан за стаканом. Затем, только что явившийся Геня, отвел его домой. Несколько дней спустя уже успокоившийся Роберт, даже сыронизировал, сказав, что самым необычным в этой истории было то, что там не присутствовал Геня.

Я думаю, что ты бы на моем месте (такой, какой ты есть сейчас) на этом и закончил — ради сюжетной лаконичности, так сказать. Но в действительности до конца было еще далеко. Дедушка с Анатолием стояли в передней и курили длинные жел-

тые египетские сигареты (одно из обычных приношений Анатолия).

“Дедушка”, — обратился я к нему, — “то, что с нами сегодня произошло, это ведь было по-настоящему, да?” Дедушка отвел руку с сигаретой так далеко, что она почти легла на притолоку, и очень серьезно, почти мрачно, сказал: “Ну, знаешь, тебя никто не просит верить или не верить в то, что ты видишь. Но все, что ты видишь и, в первую очередь то, во что ты не знаешь, верить тебе в него, или не верить, может дать тебе повод для созерцания. А уж воспользуешься ли ты этим поводом, или нет, зависит исключительно от тебя”. “Значит повод, это как показанный знак?” — спросил я. “Нисколько”, — продолжал разъяснять дедушка. — “Знак, это то, что они показывают тем, кто им уже подчинился, тем, кто уже решил не знать и только ждет знака, чтобы умереть незнающим. Запомни, что знак — не есть примета сущего, а есть примета несущего. Знак — ответ несущему из мира несущего. В этом знак противоположен символу, который всегда — от сущего. Сущее хочет не подчинения необходимости, а знания свободы”.

Ника: Но почему же тогда Роберт так жутко испугался?

Дедушка: Да потому, что принял все на свой счет. Хотя ему было объявлено, что к нему лично это отношения не имеет. То есть имеет, конечно, но только как шанс понимания, который он, кажется, упустил. Но это — не твое дело.

Ника: А почему “летом поздно будет”?

Дедушка: Это — о тех, кому еще можно помочь. Все дела местные связаны с сезоном. Он ведь, хотя и не спит, но тоже устает иногда. Оттого и сказано знающему: созерцай непрестанно, а действую сообразно сезону.

Ника: Ну а Пушкину, Ленскому, Лермонтову — им можно было помочь?

Дедушка: Нет, конечно. Все они — как и наш друг Анатолий

— следовали правилам, по которым их же самих и убивали. Более того, они эти правила даже любили.

Анатолий: О Господи! Да разве не может порядочный человек покинуть карточный стол, если почувствует отвращение к компании или самой игре?

Дедушка: Может, но только при условии, что не будет иметь на себе ни копейки выигранной.

Анатолий: Но ведь они убивают не по правилам. У них нет ни карточной, ни дуэльной честности!

Дедушка: У них — особые правила, выдуманные не ими, а Им. Его правилам они следуют без кодекса и статутков. Но здесь, как и в Римском Праве, ссылка на незнание — недействительна. Его знают все, в отличие от ТОГО, которого знают лишь немногие. Страшная ваша ошибка, Анатолий, — именно в незнание ЕГО. То есть, вы, может быть, и знаете, но отказываетесь это знание признать. Вы бы скорее согласились дать себя втоптать в грязный снег перед парадным подъездом "Москвы".

Ника: Но "Москва" — это метафора?

Дедушка: "Москва" это ресторан. Иди спать.
(устало)

На другой день, вернувшись из школы, и чувствуя на сердце лишь легкий осадок от вчерашней тоски, я увидел на вешалке в передней серое пальто, еще сырое от снега, с батистовым платочком, вылезавшим из верхнего кармашка. Мне опять стало тяжело; я уже договорился с собой, что эпизод перед "Москвой" был фантомом, хотя и имевший поучительный смысл (Роберт, неожиданно для меня, сразу же согласился с этим толкованием, когда я рассказал ему об этом в школе). Вокруг ходил Геня, обнюхивая пальто, как собака-ищейка.

Увидев мое слегка побледневшее лицо, Геня сказал: "Не тревожься, Никочка, это — кузен дедушки, Сергей Станиславо-

вич, сын сестры его матери, как я выяснил. То есть той его тетки, которая, рано овдовев, вышла замуж за немца или француза, с которым и уехала в Испанию или Португалию. Пальто — замечательное. Думаю, что оно подарено его сводным братом, как и все остальное. По-моему, Сергей Станиславович тоже масон. Все. На сегодня с меня хватит генеалогических изысканий. Кроме того, я зван к своей тетке на украинский борщ, настоящий”.

Я вошел в столовую с твердым намерением “выпутаться” из вчерашней истории. Сергей Станиславович действительно оказался похожим на дедушку, но не очень; он был гораздо красивее и изящнее дедушки. Но едва я открыл рот, как дедушка сказал: “Ника, поцелуй Сережу, и называй его, пожалуйста, дядей, хотя формально он тебе приходится чем-то вроде четвертоюродного деда. Он приехал на несколько дней из Эстонии, откуда также собирается в скором времени уехать. Он, как и его сводный брат Фред, оба страшные непоседы, но люди отнюдь не опрометчивые. У Сережи, между прочим, с детства выявился дар предсказания, но только в отношении отдельных людей и событий их жизни (“Ровно ничего мистического”, — улыбнувшись вчерашней очаровательной улыбкой, вставил Сергей). Так и сейчас: он решил посетить Москву и нас, точно зная, что ничего дурного ни с кем из нас от этого не случится. Гене он уже успел предсказать, что у него родится дочь на шестьдесят первом году его жизни”.

“Дядя Сережа, дорогой, — взмолился я, — клянусь, это со мной впервые в жизни, но... словом, вчера у меня был приступ тоски. Он и сейчас еще не совсем прошел. Я сам знаю, что скоро не умру, но... скажите, пожалуйста, — что со мной будет?”

Лицо Сергея Станиславовича мгновенно превратилось в какую-то странную маску. Усы и борода как будто прилипли к коже, брови и ресницы казались нарисованными, крошечные зрачки подвигались из стороны в сторону и застыли, сузившись до едва заметных зеленоватых точек, щеки стали белыми, как напудренные, а рот — пунцово-красным (Дедушка Нике: “Сам захотел, теперь — терпи”, — и Сергею: “Да ты перестань его пугать, эндорская ведьма!”).

Вдруг Сергей Станиславович спросил, неожиданно высоким, металлическим голосом: "А что, собственно, произошло? Почему ты спрашиваешь?"

Мне стало стыдно, но оттого не менее тоскливо.

Ника: Просто, раньше я никогда не чувствовал тоски, а теперь... я очень боюсь, что так будет всегда.

Сергей: Что же, по-твоему, другим — тосковать, а тебе — нет?

Ника: Но я знаю, что не смогу этого вынести, даже на короткий срок. И страх не смогу тоже. Если он у меня появится, то уже не уйдет.

Сергей: Хорошо. Сейчас я тебе уступлю. Пожалуй, о невыносимости для тебя страха, ты сказал правильно, но тосковать — редко и тяжело — ты будешь. Ты избежнешь телесных мук, но сердце твое будет нередко прибежищем тревог и забот. Ты никогда не будешь беден, но и настоящего дома своего у тебя не будет, после того как ты покинешь этот твой первый и последний приют. Щедр ты будешь радующей, но никого не насыщающей щедростью. Будут тебя любить прекрасные женщины, но ни от одной из них ты не сможешь утаить, что сердце твое ей целиком не принадлежит.

Ника: Спасибо.

Сергей: За это — не благодарят. В далекие времена викинги платили за хорошее предсказание цену одной молодой рабыни или двух коров, но их у тебя нет. Inquam.

Тоска прошла. (В следующий раз она вернулась, да и то ненадолго, через много лет в Льеже). Мы пили давно остывший чай с огромными тульскими пряниками. Когда дедушка вышел в переднюю покурить, Сергей Станиславович сказал: "А теперь, мой новообретенный внучатый племянник, запомни (ибо то, что я тебе уже сказал, ты и так запомнишь) : храни зе-

фирную легкость и самоотрешение — это твой главный дар; ничего не закрепляй в себе и для себя; не давай себе определений; не береги себя и не пренебрегай собой. Вот и все. Мы еще не раз встретимся, я полагаю. А теперь — пора ехать. Такси ждет внизу. Прощай”.

”Теперь, — заключил Ника свой рассказ, — ты не удивляешься, почему я так досконально запомнил историю этих полтора суток... Нет, я не отправил т о г о письма дедушке”.

ГЛАВА ДЕВЯТНАДЦАТАЯ: ИЗ ПИСЬМА НИКИ МНЕ

...Ты пишешь: ”Философия для меня, это — постоянная и почти непрерывная, особенно в последние годы, работа по расшифровке впечатлений, страхов и тревог моей собственной жизни, которые, когда работа, хотя бы первичная, уже проделана, становятся не-моими, н и ч ь и м и фактами сознания. От них, если нужно, можно опять вернуться к жизни”. Это я могу понять, так проходит жизнь, лишь в не-жизни касаясь (только касаясь!) граней бытия. Точнее, не столько даже в не-жизни, сколько в переходах и возвращениях от одного к другому. Я понимаю также и другое — как тяжела для тебя эта работа, ибо как философ ты — неталантлив, а как просто д у м а ю щ и й — хаотичен и непоследователен по своей природе. Ты, ведь, просто не можешь ни о чем думать без п р я м о г о о б р а з а — оттого ненавидишь телефон и не любишь писать писем. Отсутствие непосредственного восприятия того, о чем ты думаешь, порождает в тебе тревогу и даже страх, ибо, в отличие от меня, ты — человек вечно преодолеваемого и перерабатываемого страха.

Но есть еще и другое: ты (как и Геня) ”предаешься” осознанию в столь сложных в н у т р е н н и х условиях, что одно их н а л и ч и е в тебе уже делает твою работу по их осознанию

безумно трудной. Однако, без их осознания и ты, и Геня давно бы уже умерли (буквально, а не как Роберт!). Возможно, что именно для вашего выживания вам оказалось необходимо не быть талантливыми. Ведь талант всегда стремится выйти себя как ценность для другого — и тут же покидает область, где работает сознание.

Таланту объективно нужно себя выразить, в то время как откровенность философа (без нее философ просто не существует) есть не его самовыражение, а выражение "дышащей в нем объективности сознания". Выражать себя нужно только для того, чтобы уже в следующий момент стать абсолютно чужим выраженному, то есть — себе самому — и немедленно возвратиться к "ничьему" сознанию.

Это постоянное движение к "иному" философствованию — которое я вижу в Мерабе, Гене, тебе и, даже, в себе самом — не направлено против никакого другого философствования, прошлого или настоящего. Философствование, о котором я говорю, не может объявить себя ни "первой истиной", ни "последней и окончательной" философией. Оно не ищет утверждения истины или разоблачения заблуждения. Оно, скорее, видится мне, как нечто очень пробное, как нащупывание другого опыта моей сознательной жизни. Опыта, внутренние условия которого никогда не дадут ему превратиться в "ценность", "норму", или "идеологию". Этот опыт, даже если он высказан или описан, не индивидуален и не коллективен. Ибо он — индивидуально мой только условно, метафорически, то есть, в том смысле, в каком, скажем, летя в самолете или живя в пригороде, я говорю: мой самолет, мой пригород. Я в нем, а не он во мне, ибо сам он не является результатом моего таланта, или продуктом моей творческой активности. Просто я (или кто другой) попал в его область, это я "случился" в нем — а не он во мне (я сейчас буквально повторяю сказанное Мерабом). Поэтому и работа наша несколько безлична, и сами мы, я бы сказал — метафизически нетипичны. О тебе и себе я мог бы смело сказать словами Ходасевича, что мы — не типы, а символы. Мы — симптомы сознательного опыта, а не выразители своих или чужих идей.

И последнее. Я только что прочел твой кусок о "Ненаписанном письме и Пушкинском дне". Твой пересказ моего рассказа мне не очень по душе. Сейчас постараюсь объяснить, почему. Вообще, я думаю, что дело здесь не в неточности передачи моих слов, а в изменении тобой т о н а моего рассказа. Мой рассказ на самом деле — это рассказ о том, как Роберт впервые по-настоящему испугался, а я впервые затосковал. У тебя получилось что-то Булгаковское (хотя гораздо хуже, чем у него), что-то иронически патетическое и интеллигентски-умилительное. Не верь Фрейду — детский страх не вечен и несерьезен. Но главное — я ведь рассказал не о том, как было, а о том, как я это видел. А уж если говорить об "истолковании содержания", то, пожалуй, не исключены ш у т к а (a practical joke), розыгрыш или даже своего рода шарлатанство. Не думаю, однако, чтобы все это было подстроено специально ради нас с Робертом. К сожалению, в твоей передаче почти исчезла д в о й с т в е н н о с т ь и н т е н ц и и моего рассказа. Много позднее, Фредерик как-то сказал в приступе раздражения: "Сережа — позер и трепач". Может, это было и правдой, а может — нет. По моему, это — неважно. Пойми, самое интересное не в самих фактах, а в их с о в п а д е н и и. Так, даже если Сережа говорил обо мне чушь, то она, совпав с правдой о моей тоске (и о Робертовом страхе), совпала и с отсутствием дома бабушки, и со сценой у подъезда "Москвы". А тут уже крыть нечем — получается, как по писаному!

Ты можешь возразить, сказав, что наше (то есть, каждого из нас в отдельности) плотское рождение в данном месте и времени тоже — совпадение. Но это — не так, ибо сам разговор о совпадении возможен, только когда оно включено в сознательный опыт, которого, разумеется, в случае "перевоплощения" не может быть. Это подтверждается и предельным "сгущением", "компрессированием" событий, происшедших за крайне короткий отрезок времени, предшествующий моему отъезду из Москвы на Фиолетовом Экспрессе (кстати, Гарик не врал — вагоны на самом деле были покрыты фиолетовой краской). Но в том-то и дело, что в моем (как и в твоём) случае, и место, и

время с и м п т о м а т и ч е с к и совпадали с нашими состояниями там и тогда, то есть в Москве, в 30-е — 40-е годы. А когда состояния изменились, то их изменения совпали с другими местами и временами. Оттого-то, я думаю, люди с неизменным сознанием живут в с в о е м прошлом. Ну — хватит комментировать.

ГЛАВА ДВАДЦАТАЯ: НЕМНОГО О НАС И ЮБИЛЕЙНОЕ ПИСЬМО ГЕНИ

Конец декабря 1983-го. Мы с Никой тихо пьем у него дома. Мое вступление в разговор было плохо подготовлено: "Ну что ж, самый одаренный человек Ленинской Курилки, Андрей — умер, но дело его не живет. Оно умерло задолго до него. Кому писать? Гене? Мне ты писать не будешь — уж слишком я близко. Но теперь, когда там почти никого не осталось, и нечего бояться серьезного разговора, почему бы тебе все-таки не съездить туда впервые за сорок пять лет?" "Ты забыл про моих родичей, — засмеялся Ника. — Все братья и сестры на месте, а с племянниками, племянницами, и их потомством наберется душ за пятьдесят". Но я продолжал упорствовать: "Да ведь ты никогда ни с кем из них и слова не сказал. Поезжай так, просто. Просто, чтобы пройтись от набережной по Саймоновскому, мимо Курсового и Третьего Обыденского, и дальше по Гоголевскому до Арбатской площади. На большее у меня не хватает воображения. А когда вернешься, тебя никто не будет встречать в аэропорту — это я тебе обещаю. Так что и с этой стороны у тебя не будет осложнений".

Ника сидел на кровати и пил из фужера коньяк. Я сидел за его письменным столом и пил водку. Я сделал последнюю попытку: "Но согласись, это не может продолжаться вечно!" "Почти вечно, — серьезно сказал Ника. — У меня есть еще по две бутылки и того, и другого". — "Да я — о твоём не-посеще-

нии Москвы!" — почти прокричал я. Ника поставил фужер на пол, вытянулся на кровати, подложил руки под голову, и проговорил: "Ты все пытаешься поставить себя на мое место. Но у меня — нет места". "А не метафора ли это?" — осторожно рискнул я. "Ни в малейшей степени, — заговорил Ника, глядя в потолок. — Это — сознание, а оно не терпит метафоричности. Ведь эта моя "безместность" — не есть даже сколько-нибудь уникальное свойство моего характера. Ты и сам — такой же, хотя "отвязался" от своего места гораздо позже моего (да и то, потому что случай раньше не представился). Да возьми хоть твоего обожаемого Юрия Андреевича Живаго — жизнь, что ли, носила его из стороны в сторону? Как бы не так! Он только и делал, что выдумывал предлоги, для себя или других, чтобы откуданибудь сорваться, или куда-нибудь рвануть. Другое дело — Геня. Ему всегда нужна точка наблюдения, но ни ты, ни я т а к н е м о ж е м. Мы можем осознавать только когда двигаемся. Отсюда — и наша поверхностность, и неполнота жизни и, даже, своего рода лихорадочность. Посмотри на себя — как ты ешь и пьешь! Всегда как будто тебе у ж е надо уходить. Куда? Зачем? Да ведь ты сидишь или стоишь только чтобы поговорить о том, что думал. А думать ты можешь только на ходу. Как будто я не знаю, отчего ты меня гонишь в Москву: да оттого, что сам туда не хочешь, даже если бы и можно было!"

"Это — правда, — согласился я, — но мне так хочется заехать к тебе в Бирмингам в дождливый день, постоять перед газовым камином, не снимая мокрого плаща, выпить стоя рюмку водки и весело ожидать первой фразы твоего рассказа о поездке в Столицу Мира".

"Этой фразы ты не дождешься, — серьезно произнес Ника, — И вообще, не ищи предлогов, чтобы ко мне заехать в пасмурный или ясный день. Да и далеко ли? Два часа от двери до двери, как говорят англичане. Но послушай, разве ты не видишь, как прошлое само гонит тебя о т с е б я? Ты, даже если бы и захотел, все равно не смог бы н и к у д а вернуться — у тебя просто не получилось бы. Будучи много спокойнее и сознательнее тебя, я даже и вообразить не пытаюсь, как это у меня м о

г л о б ы получиться. А ты все старался фиксировать прошлое для в о з м о ж н о г о (ты еще верил в такую возможность!) у п о т р е б л е н и я в б у д у щ е м. И после каждой такой попытки прошлое било тебя ногой в зад. И только в середине 70-х ты обнаружил, "сынтуитировал", что д л я т е б я, по крайней мере, такой возможности не существует. Тогда-то ты и начал желать ухода. Мы ведь не те, для кого продолжение жизни невозможно без того, чтобы поставить очередную "точку", не так ли?"

Тихо потрескивали отсыревшие деревянные панели маленькой гостиной. Хозяин — редкий гость в своем доме. Он не пользуется жизнью, да и вообще — ничем не пользуется. Обо мне хоть можно сказать, как я ем и пью. О нем же — ничего такого не вспомнишь. Люди и вещи не могут быть ему благодарны: благодарит только использованный.

Вот мы, Геня, Ника и я, философствующие мальчишки (кому под шестьдесят, а кому и за), преодолевшие "соблазн участия", но уступившие стольким другим. Для меня память — не бремя. Просто близится Новый Год и, как всегда, сердце сжимается от привычной грусти. "Послушай, — снова робко начал я, — но тогда любая моя попытка говорить о чем-либо в жизни, как р е ш а ю щ е м — регрессия?" — "Пожалуй, да, — согласился Ника. — Но не возвращаемся ли мы вновь к нашей старой теме: д л я к о г о случаются эти "важные" события, да и вообще в с е с о б ы т и я, п о п а д а ю щ и е в поле сознания? Заметь, сколь солиптически — а оттого и верно — ты описал мое "перенесение" из Москвы в Париж. То, что со мной случилось, ты описал через м о е сознание. Даже если случившееся со мной имело значение и для других, оно не имело для них того значения — в смысле и х сознания — какое оно имело для меня. Ибо сознание каждого — всегда а б с о л ю т н о д р у г о е. Описание же "Пушкинского дня" тебе потому и не удалось, что ты об этом забыл, и изобразил все так, как если бы мы (то есть Роберт, я, Дедушка, и так далее) одинаково воспринимали и осознавали (хотя бы и задним числом). Ибо, даже если здесь работало чье-то другое воображение, оно работало д л я

м е н я. А теперь ты гонишь меня в Москву, как если бы мы оба этого одинаково хотели, в то время как, в действительности, мы оба этого п о р а з н о м у не хотим”.

“И заметь еще, — продолжал Ника, — как ты всякий раз врешь, когда говоришь о собственной жизни! Ведь тебя послушать, так ты только и делаешь, что переживаешь: не хватает денег, родители старые и больные, дети ничего не делают, и все прочее. Я знаю, что с моей стороны бестактно об этом упоминать, но помнишь, как здесь же, в этой самой комнате, десять лет назад ты мне пожаловался, что не хватает денег на покупку дома, и как я тут же выписал тебе чек на всю сумму? Однако, чека ты не взял. Из щепетильности? — Ничуть — ее у тебя нет. А ведь, практически, тот чек разрешил бы все твои денежные проблемы наперед, а? Так нет! Вместо этого ты пишешь десятки радиопередач, читаешь лекции в разных университетах и Бог знает что еще, умиляя друзей и знакомых трудолюбием и смирением. Так ведь врешь же все! Ты и жизнь любишь только как у с л о в и е для твоего думанья, но никак не ее самое. Отсюда, между прочим, и твоя любовь к тяжелой, примитивной пище. Ведь настоящий комфорт тебе не по нраву вовсе не из-за твоих “скрытых аскетических тенденций”, как ты сам любишь об этом говорить, а из-за очень плохо скрываемого с т р а х а о с т а н о в к и. Остановиться для тебя, значит — поддаться жизни. А ты не хочешь ж и т ь д о с м е р т и. Что же на самом деле ты хочешь? Ха-ха, чаще всего — сигарету и чашечку кофе! А потом опять — на улицу, в дождь, на солнце — думать н и о ч е м. Чтобы не дать застать себя врасплох, да? Что ж, мне ли тебя в этом упрекать, когда оба мы — жалкие чемпионы растраты мысли. Но не надо символизировать свое отношение к жизни, говоря, что ты всегда уходишь от накрытого стола — ведь ты за ним и не сидишь. Ты только и можешь, что присесть на краю, да?”

Ника встал и допил свой коньяк. Потом откинул крышку маленького бюро в углу у окна, и долго рылся в ящике с письмами. Теперь он стоит перед камином и улыбается, размахивая над огнем пачкой крупно исписанных листков: “Ты зна-

ешь — что это? Письмо от Гени, посланное мне ко дню твоего пятидесятилетия. Представь себе на мгновение: сухой, аккуратный, неслышнодвигающийся Геня — районный библиотекарь без охоты читать! Не он ли повторял Роберту, что когда он читает, то не думает? Конечно, он не может жить чужой жизнью. Она для него — как и его собственная — не более, чем случайный повод для созерцания, а их ему и без книг довольно.

Так вот, поздравив меня с твоим днем рождения, он написал о тебе следующее: "Слова, сказанные ему мною тридцать три года назад — "ты еще к нам вернешься" — не были ни вечным членским билетом, ни паролем для посвященных, ни заранее выданной индульгенцией. Ведь "мы" — не существовали. Этими словами я просто пригласил его, когда придет его время, возвратиться к тебе. Я никогда не встречал человека с таким потрясающе поверхностным отношением к жизни, как у Саши. И в 1946-ом мне не надо было быть пророком, чтобы увидеть, что именно эта поверхностность должна была, рано или поздно, себя исчерпать, и уступить место нежизни сознания. Ему еще не было и семнадцати, когда он мне признался, что больше всего на свете хочет четырех вещей: иметь свою девочку (как другие ребята из его класса), сдать экзамены на Аттестат Зрелости, поступить в Московский Университет, и считаться "оригиналом" (особенно — опять же, среди девочек). "Великолепно, — сказал я, — но для чего все это тебе нужно?" Он же, ни на мгновение не задумавшись, отвечал: "Да чтобы бродить с тобой по улицам, не думая об этом".

Разумеется, сам я тогда понимал далеко не все, но остро чувствовал переходность того времени, а отсюда — необходимость крайней осторожности в мышлении о нем. Это-то я и пытался объяснить Андрею и Саше во время одной из наших встреч в Ленинской Курилке в 1949-ом, кажется. Я тогда сформулировал это примерно так.

То весьма странное обстоятельство, что почти все мы остались в живых — формально, по крайней мере — имеет для нас совершенно особый смысл. И если в тридцатых и сороковых главным было, как будто, проскользнуть через время —

что нам более или менее, удалось — то теперь главным стало — п о н я т ь этот особый смысл, продолжая при этом жить. То есть, постараться сделать с в о ю жизнь совместимой с таким пониманием. И именно на это наш юбиляр был тогда решительно неспособен (как и Андрей, хотя и по совсем другим причинам). Но как достичь понимания совместимого с жизнью? Сама жизнь предлагала нам два решения. Первое — “окунуться” в нее со всей возможной активностью. Это и было сделано сознательно Робертом и несознательно — Сашей. Второе — спрятаться, уйти, так сказать, в умственное и моральное подполье, только изредка выныривая из него на поверхность жизни, чтобы набрать в легкие воздуха — и опять вниз, что отчаянно пытался тогда практиковать Андрей.

Что оба эти решения не годились, я знал с самого начала, ибо чувствовал, что они не только предлагаются жизнью, но и насильно навязываются ею. И не жизнью даже, а коротким “очередным” ее промежутком, который Андрей принимал едва ли не за вечность. Я же, как позднее и Додик, принял “третье” решение. Назову его “средним” или, скорее, “посторонним”, ибо исходило оно не от жизни, а от Тимофея Алексеевича. Внешне (то есть, для другого) его можно сформулировать так: не вовлекайся, но и — ни в коем случае — не скрывайся! Саше в то время эти рекомендации казались более, чем сомнительными. Немного позднее, когда он пребывал на “пике страха”, и начал страшиться даже меня, как “теневого фигуры”, Тимофей Алексеевич заметил: “Так ведь это у него — от природы, а не от жизни. Он сейчас просто не хочет созерцать, и даже думать не хочет о такой возможности. Но его неизбежно “пригонит” назад, к сознанию, его же собственное праздное любопытство. Он же, по натуре, слишком “духовный авантюрист”, чтобы к нам не вернуться!”

Он и вернулся. По настоящему — не в пятидесятых даже, а в начале шестидесятых, через пятнадцать лет после разговора на чердаке. Вернулся так, как если бы и не у х о д и л. Просто заглянул вчера, не застал дома, и решил заглянуть сегодня. Поэтому и не спрашивал: “Ну, как вы здесь?” или “Как у вас

все?" — ибо к тому времени догадался, что ни "нас", ни "все-го" — нет. Я тогда временно проживал у знакомых, в огромном и довольно комфортабельном подвале — последнем перед переселением в кооперативную квартиру. Мы сидели на полу, возле огромной батареи центрального отопления. На табуретке стояла бутылка водки и гора бутербродов с селедкой. Он выпил водку, съел все бутерброды (мы с Додиком не ели и не пили) и спросил: "Как ты думаешь, Геня, есть ли какой-нибудь смысл во мне, сейчас сидящем в этом подвале перед тобой и Додиком?", а затем еще, боясь, что мы не поймем, добавил: "То есть, я имею в виду не смысл, который имелся в моем пребывании на Обыденском до войны — ибо я не выбирал себе места для своего детства — а тот смысл, который может во мне присутствовать или не присутствовать, когда я что-то уже выбрал и спрашиваю о себе".

"Но отчего же, родной мой, о себе спрашивать, — удивился Додик, — а не о Боге, скажем, или о Духе?" "Мне, с вашего любезнейшего разрешения, решительно не о чем спрашивать, кроме как о себе, — заявил Саша, — я ведь опоздал, и теперь очень боюсь промахнуться, а говоря о себе, я — стрелок, я же и — цель". "Мне кажется, — решил подытожить Додик, — "что мы сейчас присутствуем при рождении новой, полу-масонской, полу-гностической ложи, где каждый приносит клятву не быть самим собой, но при этом иметь свой смысл". Тогда Саша стал мерить огромными шагами подвал, потом остановился перед батареей, и крикнул: "Нет, я знаю, что смысл не мой, и не твой, хотя он и может случайно оказаться в тебе или во мне! Оттого я и спрашиваю, что сам ответить не могу, ибо не могу выстрелить в себя, как в цель". И еще мне: "Не могу я, как ты, жить в этой стране, не живя в ней!" На что я, по-моему, вполне резонно возразил, что это — его личное дело, но что если он, Саша, этому не научится, то ему в конце концов придется отсюда уехать. Тогда он будет жить в другой стране, не живя в ней, что, я полагаю, — значительно легче".

Ника запрятал "Юбилейное письмо" в бюро, и налил себе еще коньяку.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ПЕРВАЯ: Я НЕ НУЖДАЮСЬ В ОПРОВЕРЖЕНИИ, И О НАМЕКАХ "ТРЕТЬЕГО"

"It was essentially a desire and implied the absence of its object."

C.S. Lewis, *Surprised By Joy*.

Мой дорогой!²⁷

Я не утверждаю, что ты неправильно толкуешь мнение Артура о тебе (в передаче дяди Фредерика), но это мнение ошибочно отделено (или — выделено) тобой из ситуации разговора. Фредерик знал, по крайней мере, что отвечать, когда его спрашивали. То есть, вслушиваясь в вопрос или вглядываясь в спрашивающего, он решал, что из того, о чем его спрашивали, он знает и только на это и отвечал. Поэтому его ответы обычно никого не удовлетворяли, ибо спрашивая, мы уже знаем с в о й ответ и ищем лишь его подтверждения. Но вернемся к знаменательной беседе.

Итак, октябрь 1975-го года. В лондонском клубе Фредерика сидят за столиком пять человек (а не четыре, как ты полагаешь): Фредерик, Артур, Джоанна (туда только начали пускать дам в 1975-ом), ты и я. Я не думаю, что тебя в тот вечер особенно интересовали взгляды или мнения Артура, хотя ты, безусловно, был несколько возбужден присутствием великого человека, и не пытался этого скрыть. Фредерик же, как всегда, немного экспериментировал в разговоре, слегка провоцируя собеседника быть более откровенным, чем это тому свойственно. Я вспомнил сейчас об этой его черте, ибо она резко выявилась, как только он заметил, что Артур хочет, чтобы ты прямо и открыто сказал, что тебе все равно, что было и чего не было в твоём прошлом там, на Востоке, в Восточной Европе, в России, в Москве. Тогда бы Артур весело и терпеливо,

27. Это письмо, от 16-го апреля 1984-го г., представляет собой комментарий на конец 16-ой главы. Перевод эпиграфа: "Это, в сущности, было желание, и предполагало отсутствие объекта".

как старший младшему, объяснил тебе, что это — невозможно, ибо в его, Артура, опыте это оказалось решительно невозможным. Хотя, конечно, трудно сравнить его “уютную” Венгрию с нашей вечной и безбрежной родиной. (Он даже стал объяснять тебе, как выгодно чужаку в Англии быть полностью иностранно-самобытным, помнишь?). Поэтому, когда Артур спросил Фредерика, не сказало ли в его, Фредерика, решении в начале тридцатых навсегда обосноваться в Испании (где они несколько позднее и познакомилась) влияние настойчиво напряженной политической атмосферы в центральной Европе того времени, то Фредерик ответил, что — ни в малейшей степени. “Более того, — добавил он, — в наших маленьких и все еще мило гостеприимных странах царил своего рода эйфория только что обретенной местной самостоятельности. Мы оказались способными к буржуазному индивидуализму, быстрому материальному прогрессу и культурному самосознанию. Поверь мне, в Эстонии или Чехословакии начала тридцатых было приятно и даже весело жить, если, конечно, не смотреть на себя, как на потенциальную жертву Германского фашизма или мировой революции. Ты просто слишком рано стал мыслить глобально и геополитически, в то время как я оставался о ч е н ь частным человеком. Испания меня привлекала тогда по контрасту — своим удивительным с о п р о т и в л е н и е м п р о г р е с с у, как сейчас его — и он указал на тебя — Англия”. “Но ведь ты ошибся, как, возможно, сейчас ошибается и он”, — возразил Артур. Ты же, вместо того, чтобы сказать что-нибудь милое и остроумное, заявил, что, во-первых, слишком мало путешествовал, чтобы иметь возможность сравнивать, и во-вторых, что приехал сюда не ради накопления жизненного опыта, а чтобы просто жить. “Но это же — тавтология, — опять возразил Артур. — Кроме того, я не знаю, что это такое — просто жить — в а ш е м случае”.

Тогда ты сказал, что т в о й случай, это — случай твоего с о з н а н и я, которое, даже если создаваемая им жизнь тривиальна и обща (то есть, как у других), само остается отдельным (индивидуальным) и особым. “Но как же так, — продол-

жал возражать Артур, — ведь особенность вашего сознания, это — особенность реки, а не воды в реке. Вода — везде та же, и ты есть то, то есть, атман есть брахман если, конечно, вы не только знаете Упанишады, но и включили их мудрость в ваше сознание”. На что ты тут же и ответил, что сознание, созерцающее жизнь сознающего — не атман, а нечто низшее по отношению к атману, но что все-таки, оно выше познаваемой им жизни, которая является тоже своего рода сознанием. И заключил словами: “Осознающий — выше осознаваемого, сознание осознающего — выше осознающего, но выше сознания Вечный Знарок Поля (атман). И он знает, что он не река, а вода в реке, то есть брахман. Но я сам знаю, что я — река, ибо мое знание о воде (океане) — общее, а не мое. То есть, это еще не есть реальное знание атмана — брахмана, а только осознание возможности такого знания”. Тогда Артур сказал, что это — не основа для философской беседы, ибо беседующие беседуют, как реально знающие (даже если они ошибаются), а не как потенциальные знатоки еще не осознанных вещей (“Ведь вы сейчас беседуете со мной, как я есть, и будучи тем, кто вы есть?”). И добавил, что хотя ошибка и неизбежна, но что “то, на чем я сейчас стою, мое знание и не-знание — тоже имеет положительный смысл. Ибо каждый имеет не только конец, где его особенное сливается с общим и неотлично от него, но и источник который, даже если я его не помню, может быть мною познан”.

Все, что я сейчас тебе сообщил, было мною записано сразу же, как только я возвратился в отель после того ужина. Но позже я вспомнил какие-то обрывки разговоров, на которые я, может быть, не обратил тогда внимания. Так, например, Джоанна, говоря о своей последней встрече с Георгием Ивановичем, вспомнила его слова о том, что “старая мудрость неопровержима, потому что некому опровергать, ибо для тех, кто ее знает, она — актуальна, а для незнущих, то есть тех, кто знает только свое, она не существует”. “А что же тогда я могу опровергнуть? — спросил несколько удивленный Артур. “Мне кажется, — отвечала Джоанна, — что фактически мы в

любом споре опровергаем собеседника, а не то, что он говорит". "Значит, ты не веришь даже в возможность моей объективности?" — еще более удивился Артур. Но она отвечала очень серьезно: "Разумеется — не верю. Во всяком случае, пока то, о чем ты говоришь, не стало тобой настолько, что ты уже сам не сможешь отличить себя от него". Тут Артур засмеялся и сказал: "Она меня здорово в...ла".²⁸

Тогда ты вдруг сказал: "Для меня настоящая беседа возможна только когда ты уже исключил себя из того, о чем говоришь. Когда ты уже перестал быть в беседе. Тогда ты можешь вдруг обнаружить себя, как объект, вещь в ее тексте, наблюдать ее, как "чужое наблюдаемое". С этой вещью можно делать все, что тебе — или собеседнику — угодно, но ее нельзя опровергнуть".

Я не думаю, что Артур воспринял сказанное тобою как дерзость, но он был безусловно огорчен полной чуждостью стиля твоего разговора. Ну вот, кажется, и все, насчет того вечера в клубе. Да будет так! Твой всегда, Ника".

Вскоре после получения мною этого письма, он приехал в Лондон и заглянул ко мне в колледж. Когда мы пили кофе в салоне, я пожаловался ему на свое "учительство" и произнес по этому поводу следующую тираду несколько ностальгического характера.

"Вспомни себя учеником. Ты появляешься, идиот, в пиджаке, который тебе либо мал, либо велик, а будущий твой учитель уже думает, как он вечером скажет жене (любовнице, другу) : "Пришел, знаешь, такой, с лацканами... ногти нечищенные, но знаешь... мне кажется, что в нем что-то есть..." Так ведь он, дурак, не знает, что уже — пропал, кончился, а ты, с этими лацканами и грязными лапами, без жены и любовницы (во всяком случае), а может быть, и без друга, ты уже — победил! Ибо тебе

28. Это слово, которое по-русски звучало бы совсем неприлично и бранно, в нынешнем английском — вполне допустимо. Артур не раз употреблял его в своем резюме съезда Пен-клуба, президентом которого он тогда был избран.

— в каком-то еще там далеком будущем — только еще предстоит выбрать: стать или не стать им, учителем. У него же, выбора нет (а может и не было?); ведь ты явился к нему у же учеником. Он, дурак, не думает о том, что твои ошибки станут его ошибками, твои неудачи — его виной, твоё опьянение — его похмельем. Он все еще думает, что эта игра в "продолжение себя в ученике" есть часть плана, веселого и праздничного, что будут цветы и коньяк с запиской ("дорогому... от... всегда...!"). Ха-ха! Теперь у тебя вычищенные ногти, и на твой костюм давно уже никто не обращает внимания. И ты даришь ему цветы, и коньяк, и все на свете. И тяжело предан ему, и легко предаешь его. И проклинаешь его за новое твоё мучение, и за позор е г о новых ошибок. И сам не замечаешь, что таким, каким ты есть с е й ч а с, он никогда бы тебя не взял т о г д а. И спросишь себя его голосом: "Чему, собственно, он меня научил? Не тому ли, ч е м я стал?"

Но спроси себя лучше — а не сводится ли то, что мы называем "ученичеством", к своего рода "метафизической форме"? Форме, соблюдение которой будет залогом твоей (и его!) победы? И если ответишь на этот вопрос "да", то легко отдашься жизни, тяжелой и легкой, и легок будет твой выбор стать или не стать им. Но ты не задашь себе этого вопроса, ибо слишком силен в тебе страх поражения. Оттого-то в этом, как и в любви, ты предпочитаешь безрадостность верной ничьей — опасной неопределенности игры на выигрыш.

Но все это пока лишь начало, которое кажется очевидным, только если смотреть на него с конца. Так я и смотрю на него сейчас, разговаривая с тобой, я — давно уже сделавший выбор лысый учитель. Мучающие себя и меня, мои ученики пока так же далеки от эндшпиля, как далек был я сам на третьем году моего "первого ученичества" у Лунга и Кнора в Москве, в 1948-ом году".

Сидевший за соседним столиком, к нам спиной, мой коллега Саймон, резко обернулся и сказал: "Н а с т о я щ и й учитель отличается от других учителей — так же, как и от всего остального человечества — прежде всего тем, что все, что он де-

лает и говорит, он делает и говорит а б с о л ю т н о". "А думает он тоже абсолютно?" — осведомился Ника. "Что думает учитель — неважно, — отвечал Саймон, — важнее то, что думает ученик, но и это — как Саша только что сказал, — форма. Задача учителя, чтобы его ученик понимал в с е б е хотя бы это". "Ничего себе "хотя бы", — задумчиво произнес Ника, — ведь если ученик понял э т о, то он уже учитель". "Чтобы быть учителем этого одного недостаточно, — возразил Саймон. — Он один знает неизбежность поражения, если выигрыш — истина". "Ну, да, кажется, я понимаю, — сказал Ника, — он не может сказать ученику истину, даже если сам ее знает. Но он может абсолютностью своих слов и действий н а в е с т и ученика на истину, даже если сам ее не знает". "Разумеется, — согласился Саймон, — только то, что Саша называет "метафизической формой", я называю к о м м у н и к а ц и е й. Ученик, не соблюдающий ее правил, у п р е к а е т учителя в обмане, ибо сам еще не понял, что истина не передается, а возникает в н у т р и коммуникации. Коммуникация — это место, где есть п о т е н ц и а л истины".

"Первый учитель, — снова вступил в беседу я, — почти всегда не настоящий, если следовать определению Саймона. То есть, он сам зачастую не осознает необходимости формы — в начале, по крайней мере — хотя и хочет ее соблюдения. А когда осознает, то это уже поздно. Ученик же, как правило, просто не может эту форму ни осознать, ни соблюдать. Притом, конечно, что оба понимают, что жизнь на этом не кончается. Тогда-то и наступает время в т о р о г о учителя. Второго я сознательно ищу и заранее готов выполнить любую предложенную им форму. Найдя его, я буду непрестанно и неустанно сравнивать его с первым — всегда, конечно, не в пользу первого. И то, что мне скажет Второй, я брошу в лицо Первому -- как горький упрек за его небрежность к моей незрелости и, разумеется, полностью забыв, что д у х о в н о е научение не входило в "условия" первого ученичества. Второго я наделю всеми чертами и с т и н н о г о учителя и человека (даже если он ими и так обладает!), и буду ссылаться на него, не боясь опровержений. И

так, неся его в моем сердце, я пройду через годы взрослой страсти, нужды и разочарования.'

"А как же — третий?" — весело улыбнувшись, спросил Ника. "Кстати, он же на самом деле появился, вынырнув прямо из ниоткуда, или из Нантакета, Массачусетс, — что, впрочем, одно и то же. Так что же он? И как ты — с ним? Но ведь заметь, Третий, это — совсем другое дело. Он появляется без необходимости и связи. Он, в каком-то смысле, роскошь, познав которую начинаешь понимать относительность необходимости, которое прежде считал абсолютным. Он тебя не выбирает и не берет, вы — совпадаете. Оттого, ты будешь с ним неосторожен и ненастойчив, а он с тобой — откровенен и категоричен. Ваши отношения не имеют последствий и не дают результатов, так как их смысл — в них самих, а не в том, что из них вытекает или куда они ведут. Я впервые встретился с ним два года назад, в том же самом кафе, в глубине бухты, в котором в 1980-м году я впервые же увидел Лезли, сестру его самого любимого ученика. Ты ведь знаешь эту их страннейшую семейную черту — сопровождать жестами речь собеседника! При том, что их жесты выражают не их реакцию на собеседника, а лишь к и н е т и ч е с к и и иллюстрируют его слова. Помню, едва успел проговорить "доброе утро, мисс Престон. Как поживает ваш брат Квинт?", как с изумлением увидел, что каждое мое слово она тут же дублирует движениями рук и мускулов лица. В этом было очаровательное шутовство! Не знаю, удастся ли Квинту с таким же шармом иллюстрировать жестами м ы с л и Третьего, но не могу себе представить, чтобы он не попытался". Саймон углубился в чтение "Файненшл Таймс", и я решил, коль скоро на то пошло, задать Нике л и ч н ы й вопрос (первые в жизни): "Но не за это же ты ее полюбил? Или, может быть, ты смутно ощущал желание через нее получить доступ к Третьему? Хотя в этом я не вижу смысла, ибо он и так — абсолютно доступен". "Не знаю, — грустно сказал Ника, — и, вообще, сегодня я слишком много отвечаю, вместо того, чтобы спрашивать. Ну ладно, тогда — по порядку. Первое — Лезли. Я полюбил ее, конечно, не за это — глупый вопрос! И она меня

любит — постольку, конечно, поскольку ей это позволяют ее обязанности мед. сестры и сестры Квинта, дома. Но ведь ты сам знаешь, что твой Третий никогда не был (и не будет) ее учителем. Этого — просто нет в раскладе, *not on the cards*, как выражаются наши с тобой “новые” соотечественники. Теперь — о доступности Третьего. Говоря о том, что он “абсолютно доступен”, ты просто играешь словами. Да, разумеется доступен, но только когда — е с т ь д о с т у п. А если его нет? Тогда он пожмет плечами и скажет: “Ну, мой дорогой друг (*my dear fellow*), это — ваше дело. И, вообще, я не раздаю истин — у меня их недостаточно даже для моего собственного пользования”. И, о Боже, как это бесит Лезли, которая имеет к нему постоянный доступ, но которая хочет истины, а не доступа!” “Иногда, когда я его слушаю, — сказал я, — мне кажется, что ты бы понял его в сто раз быстрее и лучше, чем я. Иногда я даже думаю, что ты уже прошел его “начальную школу намеков”, а “среднюю” он и сам еще не окончил. Но, увы, ты не можешь быть моим учителем по той же причине, по какой Лезли не может быть его ученицей — мы уже совпали другим образом”.

После очень долгой паузы Ника сказал: “Кто знает — может быть твой Третий зря старается? Что мы уже выросли из истин — это бесспорно. Но так же бесспорно и то, что мы еще не доросли до намеков — мы продолжаем принимать их на собственный счет! Сущность же метафизического намека в том, что получив его, ты уже принял его на собственный счет, но — в следующий же момент, отринув его личный смысл — постигаешь его как абсолютно безличное. Не забавно ли, ведь положение Декарта — что каждый может мыслить и познавать и что, поэтому можно установить правила познания общие, в принципе, хотя бы, для всех, хотя и было типичной истиной семнадцатого века, не нуждается в опровержении и в двадцатом. Но двадцатый век принес с собой догадку (а может быть, точнее, вынул и на сначать догадываться), что “может” не значит — “хочет”. Любая эпистемология, любая методология познания по определению

неприложима к и н т е н ц и и познания. Да, разумеется, правила познания вчерашнего дня могут сегодня и устареть. Но и устаревая, они продолжают фигурировать, как а р г у м е н т ы. Однако, желание или не-желание знать не подчиняется силе аргумента вчерашнего дня: оно нуждается в другой силе и, более того, в другом особом способе з н а н и я с е б я. Способе, который часто оказывается непригодным уже на другой день и особенно — в другом сезоне. То есть, ни сила, ни способ здесь — не сохраняются! Георгий Иванович любил повторять: “Знатки времени знают с в о е время и оттого не зависят от времени вообще”. А когда мы видим, как что-то, что раньше работало, теперь “вдруг” перестало работать (something went wrong — как говорят наши новые соотечественники), то твой Третий говорит: “оно перестало *хотеть* работать”. Но могущие знать не могут силой принуждаться к знанию, если они не х о т я т знать, и уже менее всего — к ж е л а н и ю знать. Оттого, вероятно, з н а ю щ и е нашего времени прибегли к н а м е к у, как к способу н а в е д е н и я могущего и хотящего знать — на знание. Но намек крайне опасен для идиота, ибо он постарается увидеть в нем — подтверждение, положение, правило, или, что страшнее всего, — руководство к действию. В то время как реальная ц е л ь намека — изменить направление твоей интенции к знанию. И уж конечно, он, идиот, никогда не будет в состоянии увидеть намек в том, что является по форме полной противоположностью намеку, то есть — в откровеннейшем, до грубости, высказывания, или в чрезмерно п р я м о м, почти парадоксальном утверждении. Этим, возможно, объясняются неудачи и провалы на Западе тех восточных религиозных учений, где намек играет важную роль, ну, таких, скажем, как суфизм, согчен или дзен-буддизм. Для понимания намека недостаточно быть созерцательным — надо уметь быть еще и п л а с т и ч н ы м. Поэтому, наверное, Джоанна была у нас в Париже “чемпионкой намеков”. “А ее ты тоже любил?” — не выдержав спросил я. “Да, тоже, — согласился Ника. — Но у нее тоже никогда не хватало на это времени”.

“Знаешь, — продолжал я тему намека, — но ведь есть на-

меки, которые очень трудно п е р е ж и т ь, или с которыми невозможно примириться?" Ника зажег мне сигарету, допил холодный кофе, и сказал: "Да, конечно, но — приходится. Намек, это одновременно и замечательное средство о т б о р а. Заметь — ведь именно этого и не смогли понять в с е философы-романтики, включая Гегеля, Ницше и экзистенциалистов. А может быть, и могли, но — стыдились. Поэтому они не смогли исключить из своего мышления идею противопоставления личности обществу, или индивида — среде. И это — вне зависимости от того, были ли они крайними коллективистами или предельными индивидуалистами. Георгий Иванович, а за ним и Джон, пытались — один намеком, а другой разъяснением — показать феноменальную пошлость и неуместность этой идеи. Ведь могущие и желающие знать — не составляют сообщества. Поэтому, ни один из них не может говорить о себе объединительно — "мы". Он всегда только — "Я", и другие знающие для него всегда — "они", а не "мы". Отождествление себя с другим так же убивает потенцию знания, как и идиотские попытки с а м о о т о ж д е с т в л е н и я. Весь современный набор отождествлений — национальных, классовых, возрастных, политических, сексуальных, религиозных — является набором способов, посредством которых "объективные идиоты всех стран" утврещают себя в своем идиотизме. Поэтому знающий всегда говорит объективному идиоту — "ты", пытаюсь оторвать его от е г о группы отождествления (если такой шанс имеется, конечно). Но боюсь, что в этом случае намеком не обойдешься".

"Однако, — сказал я, — в намеках, кажется, тоже не было недостатка. Третий однажды сказал, что "если в ы (вы множественном числе!) предпочитаете погибнуть, то пусть те, кто знает, продолжают знать". Я, конечно, тогда пытался ему возразить, и наипошлейшим образом, сказав, что для н и х это тоже будет едва ли возможным, если они не останутся в живых". "Ерунда, — засмеялся Ника, — вот Андрей вас тридцать лет пугал "прекращением существования", а прав, все-таки, оказался дедушка. Твой третий учитель — а он ведь хитрее всех, хитрее даже нынешнего персидско-шотландского суфия! — сказал

однажды Фредерику, что неотвратимость глобальных катастроф есть та форма, в которую облекается ваше (опять же!) нежелание понимать прямые предостережения". И добавил: "Ведь с намеком я могу обратиться только к тебе!" Но, все-таки, расскажи мне о нем хоть что-нибудь личное". "Не знаю, что и рассказывать, — отвечал я. — Просто тогда, еще не пришедшим к концу летом 1974-го года, он появился без вызова с моей стороны и без видимых причин, со своей собственной. Сначала он сказал (речь шла о вещах, тогда для меня совершенно необходимых и, хотя я не просил его о них, это сильно подразумевалось): "Ваша ситуация — гораздо сложнее, чем вы ее сейчас себе представляете. Вы полагаете, что решив проблему хлеба и крова, вы освободите себя для решения других более важных — хотя и менее насущных — проблем, да?" Я, разумеется, отвечал — "Да". Он продолжал: "Нет. В вашем случае, это — невозможно. Но я думаю, что смогу вам помочь сейчас".

Ах, Ника, помнишь, как в конце 1973-го года, в Москве, в Черемушках, чуть не по пояс утопая в снегу, я сочинял твоё письмо мне. И не совпало ли это, немного позднее, с тем, что реально случилось?

Лондон, 1976 — Иерусалим, 1984 — Лондон, 1986.



ВЫШЛИ В СВЕТ:

ИГОРЬ ПОМЕРАНЦЕВ. "Альбы и серенады" 146 стр. Сборник рассказов, в которых события и мотивировки диктуются не топографией и хронологией, а литературной школой и языковыми пристрастиями автора. Большинство рассказов, включенных в сборник, переведены на английский и передавались британским Радио-3 Би-Би-Си.

ЗИНОВИЙ ЗИНИК. "Руссофобка и фунгофил". Роман. Герой повествования приобрел в Москве репутацию западника благодаря своим кулинарным склонностям: при всяком удобном случае он пытался доказать, что все кулинарные рецепты заимствованы русскими у народов Запада. Однако вдали от родины, после женитьбы на англичанке и переезда на постоянное жительство в Лондон, его взгляды на кулинарию и, следовательно, на жизнь кардинально меняются — к ужасу жены и английских знакомых. Кто же, в действительности, скрывается за внешностью этого юродивого от кулинарии?

ЗАКАЗЫ НАПРАВЛЯТЬ ПО АДРЕСУ:

RUSSIAN ROULETTE PRESS LTD.
8A Rochester Terrace
London, NW1 9 JN. ENGLAND



RR
PRESS
LONDON